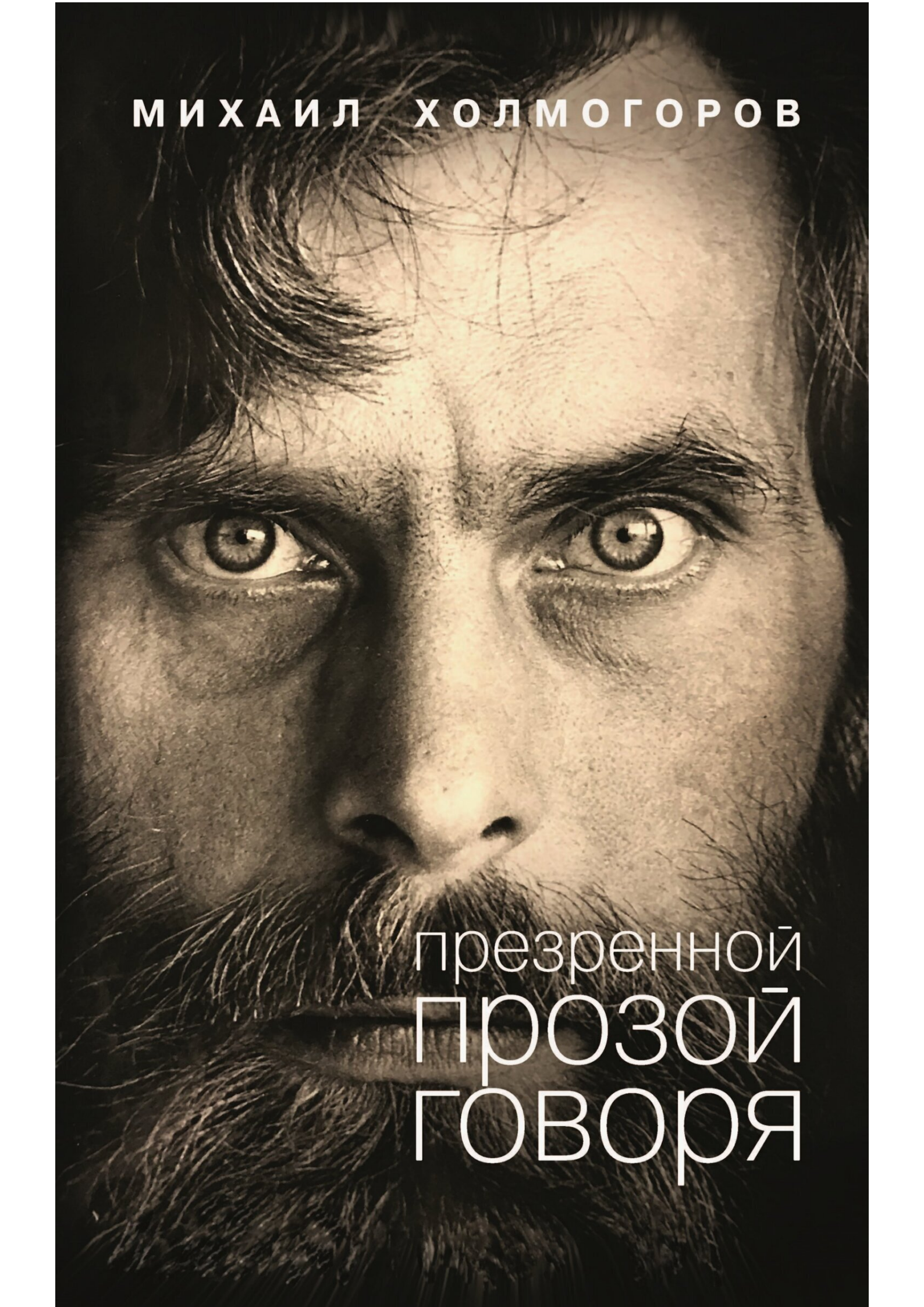




МИХАИЛ ХОЛМОГОРОВ

презренной
ПРОЗОЙ
ГОВОРЯ

Михаил Холмогоров

Презренной прозой говоря

«Бослен»

2019

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6+83.3(2Рос=Рус)6

Холмогоров М. К.

Презренной прозой говоря / М. К. Холмогоров — «Бослен»,
2019

ISBN 978-5-91187-332-5

В книгу известного прозаика и эссеиста Михаила Холмогорова (1942-2017) вошли эссе «Путешествие по воду» и «Хождение за три леса», сочиненные в деревне Устье Тверской области, где он жил в теплые месяцы в течение многих лет, впервые публикующиеся выдержки из «летних» дневниковых записей и размышлений за десятилетие 2006-2016, а также автобиографическое эссе «Кто я? Откуда?», написанное специально для этой книги.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6+83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-91187-332-5

© Холмогоров М. К., 2019

© Бослен, 2019

Содержание

В последних числах сентября	6
Кто я?	7
Путешествие по воду	21
Хождение за три леса	29
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Михаил Холмогоров

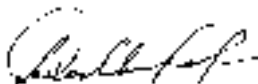
Презренной прозой говоря

© Холмогоров М. К. (наследники), текст, фотографии, 2019

© ООО «Бослен», издание на русском языке, 2019

* * *

*Моей жене Алёне —
к 40-летию нашей общей жизни*



В последних числах сентября

*В деревне скучно —
Грязь, ненастье...*

А. С. Пушкин. «Граф Нулин»

До последних чисел сентября мы доживаем в деревне не каждый год. Разного рода обстоятельства срывают с места, и вот мы в Москве, на целых 8–9 месяцев перезимовываем: настоящая-то жизнь осталась там, в Тверской области, в деревне Устье. Здесь в свободное от прогулок по лесам время сочинялись биографический роман о Лорис-Меликове «Вице-император», наши эссе, составившие книги «Второстепенная суть вещей» и «Рама для молчания», мой роман «Жилец». А по свежему впечатлению написаны были «Путешествие по воду» и «Хожение за три леса».

Увы, далеко не все, что приходит в голову, устремляется в жанровую форму. То афоризм сложится, то чем-то интересная дневниковая запись. Класа с девятого заводил блокноты и тетради, но – странное дело! – чем лучше была специально выбранная для такой цели бумага, тем крепче сжимал горло стыд за несовершенство придуманной и записанной фразы. И только на листах бумаги А4 оставались обрывки «ума холодных наблюдений». Но ХХI век одарил нас ноутбуками, и вот уже доброе десятилетие мои записи, сделанные на крыльце деревенского дома, сохраняются, как белые грибы в морозильнике.

Решить, что из этого пугающего массива текста, из этих миллионов букв включить в книгу, оказалось задачей невыполнимой. Поэтому действовал практически наугад. Оттого раздел «Летние записи» имеет подзаголовок «случайная выборка». Так что заранее прошу прощения за повторы. Они еще раз доказывают, что человеку свойственно топтаться на одной и той же мысли, когда-то показавшейся интересной.

А с Александром Сергеевичем позволю себе поспорить: в деревне скучно быть не может. Даже в ненастье.

Сентябрь 2016

Кто я? Откуда?

Начнем, как говорится, *ab ovo*. Древностью род Холмогоровых не отличается. Родословная наша ведется от священника Михаила Семеновича, жившего в селе Ведерницы Дмитровского уезда Московской губернии в 1740 году. Я это знаю из «Родословия Холмогоровых», изданного в 1914 году священником Гавриилом Холмогоровым, нашим тещеславным родственником. Сын Семен и внуки Михаила Семеновича – дьячки, т. е. не священно-, а церковнослужители, те же крестьяне, только не крепостные, а церковные. Дочек, кстати, выдавали в крестьянство. Столь недавнее начало рода объясняется тем, что священники и тем более – церковный пролетариат – фамилий до 1822 года не имели, а посему не представляется возможным установить более древние корни Холмогоровых. Звучные русские фамилии, отдающие литературой, – Цветаевы, Розовы, Добролюбовы, Флоренские – верный признак духовенства. Еще с первых посещений Третьяковской галереи мое внимание обратили на эскиз М. В. Нестерова «Портрет М. К. Холмогорова». В картине «На Руси» он изображен в образе царя. В «Руси уходящей» Павла Корина одна из центральных фигур – он же, известный протодьякон Михаил Кузьмич Холмогоров, четвероюродный брат моего отца. Поскольку воспитание я получил атеистическое, большого впечатления это на меня не произвело.

К середине XIX века предки наши потянулись в Москву, и мой прадед Семен Васильевич (1814–1891) в 1846 году поступил на службу в Московский почтамт, где достиг чина статского советника, а в свидетельстве о дворянстве сказано, что в 1876 году удостоен был ордена Владимира 4-й степени. Так что с 31 августа (ст. ст.) 1877 года по рескрипту его величества Александра II мы – потомственные дворяне. Дворяне столбовые, насчитывающие минимум 14 поколений, прозвали выходцев из духовного звания колокольным дворянством.

Дед Сергей Семенович (1856–1925) окончил медицинский факультет МГУ, был в генеральском чине действительного статского советника, профессором кафедры акушерства медицинского факультета МГУ, судя по остаткам порванной фотографии выпускников 1880 года, однокурсник Склифосовского. Женат он был на Александре Ивановне Смоленской, дочери петербургского акушера профессора Ивана Федоровича Смоленского, тоже, видимо, из колокольного дворянства.

В свое время дед был знаменитостью. Его прославил поворот на ножку: если плод шел неправильно, надо было по его методу совершить этот самый поворот на ножку. Отражен в художественной литературе: Михаил Булгаков, «Записки юного врача», рассказ так и называется «Крещение поворотом».

Дед, женившись, съехал с казенной квартиры своего отца у Почтамта на Мясницкой и поселился в доме на Тверской. История дома и его строительства в 1873 году, описана в романе П. Боборыкина «Китай-город». Его герой Калакуцкий списан с первого хозяина дома Александра Александровича Пороховщикова, прадеда Народного артиста России. В квартире Калакуцкого дед и жил, здесь родились его дети. Один из первых московских шоферов-профессионалов, дядя Федя Красавин, катавший нас по двору вокруг сквера, был водителем у Гиришмана, который купил дом у Пороховщикова. Портреты Владимира Осиповича Гиришмана и его жены Генриетты Леопольдовны кисти Валентина Серова висят в Третьяковской галерее. В 1906 году дед, назначенный директором родовспомогательного заведения в Воспитательном доме на Солянке, переехал туда, на казенную квартиру с видом на Москва-реку, откуда было сфотографировано наводнение 1908 года. А в феврале 1917 года по всем предприятиям и учреждениям на набережных отряды поддавших красногвардейцев отлавливали директоров, насильно усаживали на тачки и сбрасывали в реку. Дед, вовремя предупрежденный, съехал

и явился к Гиришману на Тверскую. Старая его квартира над аркой была занята, и дед поселился в той, где я провел первые 34 года своей жизни. После смерти профессора медицины швондеры нашего дома квартиру стали «уплотнять», и его младшим сыновьям остались две комнаты из пяти.

Детей у деда было четверо: Александр (1890–1920), Владимир (1894–1941), Николай (1900–1973) и Константин (1904–1948), мой отец.

С дядей Шурой, самым старшим братом отца, связан удивительный феномен. В десятом классе, роюсь в домашнем архиве, я добрался до журнала «Свирель Пана», где в 1914 году была опубликована статья А. Холмогорова «Сексуальность и танго» в защиту танца от филистерских нападок. И вот что поразительно: стиль моего дяди – ритмика фразы, темперамент торопливой мысли, система аргументации и даже стремление ломиться в распахнутую дверь – удивительно совпадал с моим собственным, проявившимся в школьных сочинениях. А дядя Шура умер за 22 года до моего рождения! В доме считалось, что дядя Шура был чрезвычайно образован и талантлив, знал девять языков, читал лекции о футуристах в кафе поэтов и Политехническом музее, предваряя выступления Маяковского, Каменского, Шершеневича. Дядя Коля вспоминал, что Маяковский пил у нас в доме чай. Где-то в домашних архивах затерялась машинопись лекции о футуризме, прочитанная Александром Холмогоровым в марте 1918 года, и афишка об этом вечере. Дядя Шура успел до революции попутешествовать по Европе, Америке и, кажется, Египту. Недавно обнаружил фотографию В. В. Розанова с дарственной надписью. Судя по их переписке 1918 г., дядя Шура пытался распространять «Апокалипсис нашего времени». Какими-то судьбами его занесло в Овидиополь, где он умер от тифа 15 февраля 1920 года. Сохранилось письмо его коллеги, гимназической учительницы, о последних днях его жизни. Из всех братьев особенно выделял папу, несмотря на колоссальную разницу в возрасте. Видимо, явственно ощущал духовное родство.

С дядей Володи такого родства не было. За старательность братья прозвали его Копчиком: тот брал усердием. Но взял, видимо, немало. Дядя Володя был инженером-мостостроителем, и построил их пять или шесть на Украине. Перед войной в чине подполковника преподавал во Львове в военно-инженерном училище. В марте 1941 года их подняли по тревоге, трое суток провели в каком-то болоте. Результат – скоротечная чахотка. Он умер в Киеве 15 июня 1941 года. Что стало с его мостами? Едва ли сохранился хоть один.

У дяди Володи было три жены. Третья – тетя Муся приезжала к нам из Львова в 1951 году. Очень крупная и добрая женщина с сильным характером. В Москве она покупала драп. Я посмотрел и сказал, что он похож на одеяло в пионерском лагере. Очень все были смущены. Помню его первую жену – Веру Николаевну Страхову. Ее отец был главным врачом (а до революции, кажется, хозяином) глазной больницы в Мамоновском переулке. Оставил ей в наследство дачу на Николиной Горе, которая очень приглянулась какому-то чекисту. Дальнейшее понятно.

В 1956 году она вернулась из лагеря. Бывшая красавица, это была жалкая, выжившая из ума старуха, неряшливо одетая, плохо причесанная, и требовалось немалое усилие фантазии, чтобы увидеть в ней предмет бурной любовной страсти. Сын Юра если и давал ей деньги, то чуть-чуть и тайком от жены.

В нашей жизни этот Юра появлялся дважды. После смерти матери он стал менять фамилию отчима на отцовскую и чего-то в связи с этим хотел от нас. Нам он тогда очень не понравился. Второй раз он вспомнил о родстве лет эдак двадцать спустя. Ломился к нам в мое отсутствие, пытаясь через закрытую дверь доказывать свое родство, но моя жена Алёна, никогда не слыхавшая, что с холмогоровской стороны есть двоюродный брат, его не пустила. Тогда он явился к моему старшему брату Олегу на работу с раскрытым паспортом. Потом мы с Олегом были у него в гостях. Дочь Ира – плохонькая художница, работала в Кремле. Всем семейством стали жаловаться на евреев – заели бедную девушку! С таким чувством цвета, как у этой про-

фессионалки кисти, и я бы заел! Тогда мы с Олегом стали хвастаться женами, особо упирая на их еврейское происхождение. Больше мы туда ни ногой, я ни адреса, ни телефона не знаю. Олег телефон сохранил и как-то позвонил племяннице. Та сказала, что Юра в начале 1980-х умер.

Дядя Коля сначала появился в моей жизни угрозой. В войну его мобилизовали, но направили не на Запад, а на Восток, к тому же – Дальний. Ожидались боевые действия со стороны Японии. Так что мы обитали в двух комнатах – нашей и дяди-Колиной. Там еще жила масса народу – мамыны сослуживцы, гости из Ярославля. Но в 1946 году дядя Коля вернулся. Все гости срочно выехали из дома. А мне строго внушали, что теперь в большую комнату просто так не придешь.

И действительно – важный, вечно насупленный, сердитый, дядя Коля умел на всех наводить беспричинную робость. Собственно, почему беспричинную? Ему ничего не стоило на кого угодно наорать. Он никогда не скрывал своего раздражения, но нераздраженным бывал крайне редко. В детстве я его боялся, выросши, – смеялся над ним.

– Олег, давай играть: ты будешь Миша, а я дядя Коля.

– Давай.

– Михаил, пошел вон!

Мама рассказывала, как расстроился отец, застав нас за этой игрой.

Дядю Колю оберегали. Он был заместителем главного врача роддома № 18 на Гольяновской, часто его поднимали ночью и вызывали на операцию. Рассказывали, что мимо постели не пропустил ни одну медсестру. Он был туповат, но усидчив. Когда преподавал на фельдшерских курсах, заучивал конспекты наизусть. Профессию выбрал отцовскую, но звезд с неба, в отличие от деда, не хватал. При всем том специалистом (дедовская выучка) был отменным. Я как-то с домашним поручением приехал к нему на работу и был потрясен эффектом преобразования: там, в роддоме, это был совсем другой человек. Шел по коридору, а за ним – свита врачей и сестер – очень доброжелательный, кого-то из свиты внимательно выслушивал, и чувствовался вполне заслуженный авторитет. При этом никакого страха вокруг него не ощущалось. Правда, едва Николаю Сергеевичу исполнилось 60, его выпроводили на пенсию.

В доме дядюшка был сущий тиран. После его смерти, конечно, локти кусал, что ни о чем его не расспрашивал. Хоть и был он порядочно труслив, однако свидетельство о дворянстве сохранил именно он. Но к нему невозможно было подступиться. Гораздо приветливее, человечнее была его жена тетя Соня – Софья Алексеевна, урожденная Козлова, из таганских купцов. Она работала в Моспроекте в мастерской Л. Полякова, но в 1958 году из-за туберкулеза вышла на пенсию. Тут она как-то опростилась, вся ее интеллигентность куда-то подевалась: как спущенный мяч. 20 августа 1967 года у дяди Коли был день рождения, который мы с Олегом проигнорировали, исчезнув из дому, а когда вернулись, застали картину ужасную: тетю Соню увезли в больницу с инсультом. Полный паралич, первое время даже речь отнялась. Дядюшка громогласно стenal и возмутил нас с Олегом пассажем, который мы ему до смерти не простили: «Да, у Вацлавны (нашей мамы), если давление поднимется, кровь носом пойдет – и все, а Соне вон как!». Любимая фраза Николая: «Баринoм родился, баринoм и умру!». Но Господь ему удружил – до самой смерти горшки таскать. Грехи свои он, конечно, искупил. И меня гложет совесть, что 13 декабря 1973 года подавил я порыв навестить его в больнице, а на следующий день он умер.

И вот папа. Константин Сергеевич Холмогоров. Родился 17 февраля 1904 года. Прожил всего сорок сорок четыре года. И я о нем преступно мало знаю. Учился на факультете общественных наук (бывшем философском) МГУ и бросил после второго курса. Параллельно поступил в консерваторию, ее он закончил по классу фортепьяно профессора Самуила Евгеньевича Фейнберга в 1929 году. Есть фотография С. Е. Фейнберга в окружении учеников того выпуска. Поскольку моя жена Алёна – внучатая племянница Самуила Евгеньевича, в ее архиве точно такая же. В папиной записной книжке начала 20-х годов нашел адрес и телефон его

университетской однокурсницы Эммы Григорьевны Герштейн. Позвонил. Вступавшая в столетие, она ничего не помнила. И опять досада: попалась бы мне эта запись до 1972 года. Я с ней познакомился в Комарове, она была тогда в твердой памяти. Но вот что интересно: в том телефонном разговоре Эмма Григорьевна произнесла фразу о годах ученья в МГУ ту же, что я слышал от мамы со слов отца: «этот университет ничего мне не дал». Еще бы: в 1922 году лучших профессоров, к которым они стремились, выслали. Сохранилась папина зачетка с росписью Бердяева.

После консерватории отец много лет не мог устроиться по специальности: мешало дворянское происхождение. Видимо, из снобизма идти в кинотеатр тапером не захотел. Наконец, в 1937 году устроился в железнодорожной школе учителем пения и в первый же учебный год поставил с учениками «Майскую ночь». Только после этого попал в музыкальное училище Сокольнического района и музыкальный техникум им. А. К. Глазунова. В обоих заведениях был заведующим учебной частью и преподавателем – теории и истории музыки и класса фортепьяно.

Отец был человек несомненно талантливый, не реализовавшийся в силу завышенных требований к себе и лени одновременно. Ну и отсутствия везения. Сохранилась его по-юношески наивная, но с тонкими догадками курсовая работа о Канте. Впрочем, об отцовских философских взглядах судить не могу: после этого была целая жизнь. Очень страдал в войну, что, против собственных убеждений, придется стрелять в людей. Обошлось: в тотальную мобилизацию 17 октября 1941 года призвали и его, но как нестроевого отправили пешим шагом на восток. Дошел до Ногинска и попал в госпиталь. Инфаркт, который не установили, а погнали, едва отдышался, дальше, в Муром. Там он работал на химзаводе со свинцовыми парами: в мирное время туда не брали блондинов – слишком широкие поры, куда проникали ядовитые испарения. У отца это кончилось общим заражением крови и экземой. Комиссовали, но ненадолго: призвали снова, да еще в войска НКВД – был в Одинцове комендантом женского лагеря для «указниц» – опоздавших на работу свыше 15 минут и по какому-то калининскому (разумеется, сталинскому) указу 1940 года приговоренных к двум годам не самых каторжных лагерей. Кстати, однажды такая беда случилась с маминной подругой. Что придумала моя мудрая мама? Она обзвонила все вокзалы и выяснила, что на Ленинградском опоздал утренний из Подсолнечной, где жили наши друзья. На него и свалили. А так бы пришлось отбывать двухлетний срок в лагере, которым в войну командовал отец. Должность хлебная, но не для моего папы: он еще что-то доплачивал из своего сержантского жалованья. После этого был писарем. Помню посещения в казарме на Большой Спасской, но очень смутно. Из войны папа вышел полным инвалидом. Он думал, что у него неизлечимый тогда туберкулез и сильно запил. На самом деле – сердце. Инфаркт за инфарктом. При вскрытии обнаружили 9 рубцов на сердце. И 8 августа 1948 года он скончался.

Мама Утлинская Анна Вацлавовна. Родилась 19 апреля 1907 года. Скончалась 4 декабря 1979 года. О ней – потом, это вся моя жизнь.

Дед Вацлав Оттонович Утлинский родился 27 сентября 1881 года, погиб в бою у города Станислава (Ивано-Франковск) в мае 1915 года. Происходил из древнего шляхетского рода, в 1831 году лишённого дворянства (дед деда Лев участвовал в восстании Иохима Лелевеля). Кто-то из его предков был женат на француженке, так что и французская капля гуляет в моей крови. Дед был исключен с волчьим билетом из последнего класса реального училища (они с одноклассником выкрали ночью из православной церкви гроб с телом учителя, тоже католика, и перенесли в костел). Работал на железной дороге: накануне Первой мировой войны был начальником крупной станции на Виндавской дороге, кажется, Режицы, ныне по-латышски Резекне. Я немного на него похож. С его гибелью почему-то ассоциируется вальс «На сопках Маньчжурии». От Первой мировой мелодий не осталось, а в русско-японской он тоже участ-

вовал. 28 сентября 1962 года, в день святого Вацлава по католическому календарю, у меня родился сын. Разумеется, получил имя прадеда.

Бабушка (Бабока, по-домашнему) Александра Николаевна родилась в феврале 1884 года, умерла в феврале 1958 в Ярославле. Урожденная Грязева. Прадед Николай Иванович был состоятельный крестьянин, дети получили образование. Бабока окончила Уржумскую гимназию. От нее остался девичий альбом, очень смешно иллюстрирующий вкусы уездных барышень, но никак не совпадающий с тем ее обликом, который запомнился внукам. В моих глазах она целиком вписывалась в образ классической русской бабушки, как в гончаровском «Обрыве».

Мама была старшей из детей. Ее брат Георгий Вацлавович, дядя Юра (30 апреля 1910–10 января 1975), знаменитый в Ярославле спортсмен, завкафедрой физкультуры в Ярославском пединституте, бывал у нас редко. Зато тетушка Галина Вацлавовна (9 сентября 1912–26 мая 2000) была рядом всю жизнь. Тетя Галя была попроще мамы, но добрее, хотя в детстве от нее и доставалось: за дело, разумеется.

Дядю Юру я знал плохо, в Москву он приезжал на своем «Москвиче» только до ближайших к городской границе гастрономов, где закупал продукты в голодный областной центр. В 1972 году мы с ним всю ночь проговорили. Но он о себе ничего не рассказал, только меня расспрашивал. Жена его Ольга Васильевна, тетя Ляля, была из мещан, и характер имела соответствующий, плела против мамы и тети Гали мелкие интриги, доносила о них Бабоке какие-то сплетни. Говорят, была отменным фтизиатром, руководила областным диспансером.

Мама была человеком сильного, героического (не геройского) характера, недюжинного ума и проницательности. Как она вырастила двух балбесов 6 и 16 лет, оставшись вдовой? Она окончила Педагогический техникум с сельскохозяйственным уклоном им. товарища Л. Д. Троцкого – вот и все ее образование. Из-за болезни связок учительствовать не могла и всю жизнь проработала на мелких канцелярских должностях, чаще всего – инспектором отдела кадров. Зарплата нищенская, только к концу жизни стала получать 140 – почти среднюю по тем временам. Она была авторитетна всюду: среди подруг, на работе, в нашей коммунальной квартире. Правда, и авторитарна, меня она подавляла своим сильным характером, унаследованным от Грязевых. Свойство крупной личности: мама не могла затеряться в толпе. Шельма, меченная Богом. При том, что, в отличие от отца, яркими дарованиями не блистала. Доставало интеллигентности. Но подлинной, той, о которой сказал академик Лихачев: «Интеллигентом нельзя притвориться».

Олег, мой братец, родился 1 сентября 1932 года, а 23 марта 2002 года скончался, как мама и дядя Юра, от рака легких. Отношения наши были отягощены неизжитыми комплексами «старший – младший» с редкими порывами природной, почти животной братской любви. У Олега были гуманитарные наклонности, но жизнь их задавила. Когда умер папа, Олег остался на второй год в 8 классе, пришлось школу бросить, и он поступил в Ярославский строительный техникум. Кончил уже в московском, работал десятником и прорабом на стройках, потом тетя Соня устроила его в «Моспроект», а ученье он продолжал в вечернем строительном институте. После института перешел из «Моспроекта» в «Гидропроект», работал в Братске, где, по собственному признанию, стал настоящим конструктором. Видимо, серьезным: в проектно-институте Минздрава России был сначала главным конструктором, потом – главным инженером, откуда ушел во всесоюзный институт «Союзкурортпроект». Ровно в 60 в результате местных интриг ушел на пенсию, а в 1994 году вместе со своей бывшей сотрудницей создал фирму, которая уничтожила в конкурентной борьбе институт Минздрава, живший по-советски под управлением коммунистки, когда-то изводившей Олега кляузами.

Вот, наконец, и ко мне подобралась.

Я был дитя и внук мировых катастроф XX века.

Зачат я был между словами «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» (Молотов, 22 июня 1941 года) и «Братья и сестры... К вам обращаюсь я, друзья мои» (Сталин, 3 июля). Мама, когда я спросил ее об этом, подтвердила: в ту пору было не до контрацепции. У них с отцом, судя по переписке, тогда был разлад, дело подходило к разводу. Как, впрочем, и после войны, когда отец, чуя близкую смерть, запил, а мама не могла понять отчего. Похоже, она вообще поняла его уже после кончины.

Итак, я дитя не любви, как старший братец, а тревоги. Возможно, это каким-то образом сказалось на моем духовном существовании. Поскольку родился я в весенний праздник Благовещения, мое появление на свет предвещало победу, хотя даже трагедии Харькова и Сталинграда были впереди. По маминым рассказам, в предречевом детстве я обладал пророческим даром. Точно предсказывал салюты и приходы отца. С утра твердил «Бам-бам!» или «Папа!» – «Миша, голубчик, только вчера был салют!» – «Бам-бам!». Включают радио, а там Левитан: «Нашими войсками освобожден город...».

Салюты эти я помню. Бывало, они даже днем гремели. Папа тоже появлялся внезапно, посланный в город с курьерскими обязанностями. Когда он меня целовал, кололся щеками. В военной форме у папы был очень суровый вид. Он вообще выглядел гораздо старше своих лет.

И куда подевался тот пророческий дар? Если и сбываются какие-нибудь взрослые предсказания, так это благодаря логике и кое-как усвоенному историческому опыту, который и детям не передашь – им, видите ли, неинтересно. А посему – пусть шествуют по ржавым граблям, исколовшим нам ноги и набившим гору шишек на некогда ясных лбах.

Со мною в животе мама пережила бомбежки Москвы и дежурства на крыше с тушением бомб-зажигалок. Одна попала в наш задний двор и уничтожила двухэтажный корпус 31 августа 1941 года. Родители были в тот день в гостях за городом и увидели уже руины. А в нашей комнате образовалась трещина на потолке, которая не поддавалась ни одному ремонту. В ту же бомбежку разнесло летний театр в саду «Аквариум» – «Варьете» в «Мастере и Маргарите». Роясь в его руинах, находили массу интересных бутафорских вещей. Но в 1958 году руины обнесли забором, за которым еще через год вырос Театр им. Моссовета. Мама пережила панику 16 октября и приняла решение, если немцы возьмут Москву, идти пешком в Ярославль по пути Наташи Ростовской. В общем, много чего она пережила, передумала, перечувствовала, как каждый москвич, которому война отнюдь не мать родна.

Когда у мамы начались схватки, позвонила в ближайший роддом в Леонтьевском переулке, кажется, имени бесплодной Крупской (С тактом у большевиков все было в порядке: если роддом, то или имени бесплодной Крупской или старой девы Клары Цеткин), где родился Олег. «Да-да, – сказали, – приезжайте». Приехала. Там – солдатский госпиталь, и всеобщее ржанье. Но надо знать мою маму. «Хорошо, я прямо у вас начну рожать!» Всполошились и сами отвезли на Большую Молчановку, 7, в роддом Грауэрмана.

7 апреля 1942 года ровно в полдень с третьим сигналом радио (их тогда было не шесть, а три) я издал торжествующий вопль. Через девять часов после моего рождения объявили воздушную тревогу. Рожениц позвали в бомбоубежище. Брат маминой подруги в одну из первых бомбежек погиб, погребенный в бомбоубежище разрушенным домом в Лаврушинском переулке. После этого мама ни в каких бомбоубежищах от судьбы не пряталась. Отказалась и тут. «Тогда, мамаша, ребеночка мы принесем вам». Так я совершил первый и последний подвиг в своей жизни.

Ну что сказать о нашем поколении? Мы последние, кто зубрил математику по гимназическим учебникам А. П. Киселева, задачку г-жи Березанской (арифметика) и Рыбкина (геометрия). Шедшие за нами алгебру учили по Барсукову.

Мне ли рассуждать на эту тему, если с шестого класса я не вылезал по сим славным предметам из двоек? Лишь в последнем, десятом классе под угрозой неполучения аттестата и с помощью учителя 23-й школы Александра Федоровича, сильно смахивающего пьющим ликом на Макара Девушкина, я вдруг прочувствовал радость чистой мысли при решении замысловатых алгебраических и геометрических задач. Даже Бином Ньютона дался мне тогда с головокружительной легкостью. Хоть всю математику с начала проходи, заштопывая дыры невыученных теорем!

И неумную жажду учиться, учиться систематически я испытал к концу пятого курса института, когда все уже было позади.

Как-то странно я развивался: замедленно и скачками, одолевая пропасть. Черта эта родовая. Многих Холмогоровых за неуспеваемость выгоняли из семинарий, а жизнь они кончали профессорами, статскими и действительными статскими советниками. Олег остался на второй год в 8 классе, а на пенсию уходил с поста главного инженера всесоюзного проектного института.

Видимо, таким же спохватывающимся разгильдяем был наш отец. Дядя Шура, хоть и кончил гимназию с блестящим аттестатом, что-то долго проходил университетский курс. А перед смертью корил себя за лень: не стал, как мечталось, университетским профессором литературы и кончил дни свои простым учителем в малороссийской дыре – Овидиополе.

Себя помню с удивительно раннего возраста, около двух лет. Жил я на два дома – наш № 28 по улице Горького и «у Марьи Григорьевны» в доме № 17, он тогда назывался «дом под юбкой». Над угловой башенкой до 1958 года стояла гипсовая скульптура балерины, по слухам, моделью служила Ольга Лепешинская. Без нее купол выглядит каким-то опустелым. Квартира была на четвертом этаже с балконом, окна смотрели на Козицкий переулок напротив, но главное – в этом доме топили. Марья Григорьевна, добрая старушка в синем в белый горошек переднике (его помню отчетливо), была по профессии патронажная сестра, идеальная няня.

Легенда. 7 ноября 1942 года. Меня выгуливают на балконе. Каким-то чудом мама заглядывает туда и видит: на моем лице сидит крыса. Мама, панически боявшаяся маленьких мышек, отрывает от меня голодную крысу и бросает ее с балкона. Шрамы на лице были видны лет до семи. Вторая легенда – о моем везении. В войну заботливое государство одаривало младенцев разными льготами: то мыло бесплатное, то молоко, то карточки какие-то особые. Льгота ограничивалась возрастом младенца: аккуратно, таким, из которого я только что вырос.

У Марьи Григорьевны со мной играла девочка-подросток Наташа. Однажды она нечаянно разбила цветочную вазу и очень плакала над осколками. Наташа умерла в 1944 году от скарлатины, но я ее ясно помню: темно-шатоновые волосы, две довольно длинные косы, школьная форма и светло-серое платье. Ваза укрепилась в памяти моей младенческой фотографией, она там присутствует рядом с щекастым ребенком – и это дитя войны? Такая же по форме ваза долго жила у нас дома и была из моих любимых вещей: ее разбило ураганным порывом в 1976 году. В большой комнате с балконом висел на всю стену ковер. Почему-то помню купание в ванночке и красную пластмассовую рыбку, ее запах. И запах той квартиры. В 1964 году я застал освобождение жилого дома для конторы (проектное бюро при «НИИАсбестцементе», где я подрабатывал). И вдруг из подъезда обдало теми запахами, которыми был полон дом Марьи Григорьевны, – детского мыла, пластмассовой игрушки, еще чего-то очень родного.

Помню себя у подножья Пушкина на Тверском бульваре. Почему-то зимой, помню, как лепил снежок. Вновь нахлынуло, когда впервые прочитал начало цветаевской книги «Мой Пушкин». В детстве у нас с Мариной Ивановной был одинаковый Пушкин. Под памятником Пушкину видел дневной салют по поводу освобождения от фашистов очередного города.

У меня были удивительные погремушки. Только совсем взрослым понял, что они собой представляли. Это были корпуса противопехотных мин, начиненные дробью. Жестяная коро-

бочка окрашивалась в голубой цвет и скреплялась с деревянной ручкой, окрашенной красным. И наоборот: красная коробочка на голубой деревяшке. Обе они хранились в моем игрушечном хламе лет до семи-восьми, на ручках – следы моих младенческих зубов. Играя на балконе, я уронил этот продукт конверсии на голову майору. Из-под фуражки пошла кровь, и взрослые ужасно перепугались. Майор вычислил траекторию полета, поднялся на четвертый этаж, вернул погремушку, пролжепророчествовал: «Вырастет – минометчиком станет». Не стал, даже наоборот: вырос пацифистом. И слава Богу.

В гостях хорошо, а дома лучше. Еще одна легенда. Мама вела меня к Марье Григорьевне, но стоило дойти до Музея революции, я каждый раз вырывался и шествовал обратно. Тогда мама решила меня перехитрить и повела по другой стороне. В первый раз сошло: слишком поздно обнаружил обман и стал вертеть головой почти у кинотеатра «Центральный». На следующий день, дойдя до Музея революции, пусть и по другой стороне, я вырывался и опять пошел обратно. Пришлось брать на руки и нести.

Во дворе Музея революции лежали серебристые аэростаты. Их не убрали, по-моему, года два-три после войны. Такие же из окна троллейбуса видел во дворе института Склифосовского. Всегда изумляло название улицы Газгольдерная. Оказывается, газгольдеры – это как раз те самые дирижабли, аэростаты воздушного заграждения, которыми я любовался в детстве. Но все же лучший памятник человеческой глупости, запечатленный в московской топонимике – 2-й Магистральный тупик.

Дома, конечно, было интересней. Во-первых, дома была мама. О том, что она, сдав меня Марье Григорьевне, уйдет не домой, а на работу, я, естественно, не догадывался. Во-вторых, дом был полон любящих людей. Мама всю войну работала в «Союзвзрывпроме» – управлении, в ведении которого была организация взрывных работ в горной промышленности. В начале войны домашние телефоны приказали сдавать. А сообразительная соседка спасла телефон: «Вы что, Утлинская работает в «Союзвзрывпроме», ее в военное время могут и ночью вызвать».

В соседней с нашей комнате всю войну жили мамин сослуживец дядя Степан Давыдов, его сестры тетя Груша и тетя Даша, наконец – Катюшка, дочь тети Груши. И их родители Александр Васильевич и Екатерина Сергеевна. Поскольку родного дедушки у меня не было, до поры полагал, что Александр Васильевич Давыдов и есть мой дедушка. Он был седенький, с бородой, как в русских сказках. И бабушка, урожденная Лопухина, под стать ему. Почему-то помню в ее руках толстый том с маленькой гравюрой (скорее всего, энциклопедия, набор был в две колонки) – остроносый профиль с усиками, но женской прической. «Это Гоголь», – объясняет мне бабушка. Помню, как она читала нам с Катюшкой из большой желтой книги «Русские народные сказки» про медведя на липовой ноге и про хитрую лису с поговорками «Мерзни-мерзни, волчий хвост!» и «Ловись, рыбка большая и маленькая» и про другую лису, у которой была избушка ледяная.

Дядя Степан был занятой личностью – охотник, мастер на все руки. Не получивший нормального образования в силу социального происхождения от героя-партизана Дениса Давыдова (и далее, в глубь веков от татарского мурзы Давида, поступившего на службу к Ивану Грозному), он волей случая стал инженером-взрывником. По призванию был, скорее всего, естествоиспытателем. В голодные времена стрелял голубей и ворон. Я помню, как, обнаружив эту птицу нарисованной в книжке, воскликнул: «Ворона! Я ее ел. Она вкусная». Память закреплена семейной легендой, а мне еще кажется, что я помню синеватое мясо и косточку от вороньей ножки. Из командировки в Среднюю Азию привозил вяленые дыни – я до сих пор скучаю по их вкусу. Дядя Степан водил нас и в зоопарк, и в Уголок Дурова. Ездили с ним убирать картошку на выделенном «Союзвзрывпрому» огороде на станции Марк. Помню там, на Марке, холмы и овраги. Какое-то время Степан Александрович носил бороду и был совер-

шенный крестьянин по виду. Ничего барского в его внешности, никакой породы, в отличие от родителей и сестер.

Александр Васильевич, отец Степана, был убежденный толстовец, после революции имение свое раздал крестьянам, сам с женою остался учителем в им же построенной для крестьянских детей школе. Отговорил мужиков от участия в антоновском мятеже. От репрессий не спасло. В 20-м за ними пришли чекисты с устным приказом расстрелять по дороге. Старшая дочь Леля, тогда еще маленькая, вцепилась в родителей и разжалобила чекиста. Это выяснилось в 1944 году. Где-то в поезде к Александру Васильевичу подсел пассажир и сказал: «А я вас помню. Я приходил вас арестовывать, а ваша дочка так вцепилась, так горько плакала, что я нарушил приказ и не застрелил, а доставил вас до Тамбова в тюрьму». Дальше были бесконечные ссылки и поражения в правах. Но в 1941 году намечалось 100-летие гибели Лермонтова (Сталин в силу некрофильства с большей помпой отмечал юбилей смерти, чем рождения). Екатерина Сергеевна – единственный потомок лермонтовской бабушки, Александр Васильевич – Дениса Давыдова. Освободили и дали персональную пенсию. После войны Александр Васильевич съездил в свое тамбовское имение. Мужики взмолились: «Барин, оставайся, мы тебя председателем колхоза выберем!». Только этого ему не хватало!

Кроме сборника сказок, помню маленькую золотистую брошюрку про курочку-рябу и пеструю книжку-раскладку Агнии Барто «За работой» с обезьянкой и ананасом на первой картонке. Любимая же книга была «Сказки» Корнея Чуковского с иллюстрациями Владимира Конашевича, изданная «Академией» в 1935 году. Там на цветной вкладке был устрашающий Бармалей с ножом и вилок. В первом классе в Доме пионеров на утреннике видел Корнея Ивановича, и он читал стихи оттуда. Оказывается, у этой книги была суперобложка – пестрая, с преобладанием желтого цвета.

Когда мне исполнилось 7 лет, дядя Степан подарил синий однотомник Пушкина, вышедший к 150-летию юбилею. Мама где-то в середине 60-х передарила его какой-то своей молодой сотруднице, поступавшей в институт. Мне было несколько жаль. Я не люблю расставаться с книгами, тем более – любимыми.

Тошнотворное в моем детстве: стишки Зинаиды Александровой и назидательные рассказы Валентины Осеевой. Эти детские, с позволения сказать, писательницы были начисто лишены чувства юмора. О несусаицах Хармса, вероятно, написано и защищено с десятков диссертаций, в ленинградском НКВД целый отдел разбирался, но едва ли хоть одна попытка что-либо понять взрослыми мозгами проникла в тайну ювачевского замысла. А дети берут эту преграду легко, как профессиональный бегун с препятствиями.

Разоблаченный обман. По радио все время читали «Счастливый день суворовца Криничного». Иззавидовался суворовцам. Дорвался до книжки – дикая скука и вранье. Такая же история с Гулей Королевой, героиней книжки «Четвертая высота». И – страшно вымолвить! – мать главной героини нашего детства Зои Космодемьянской и в выступлениях по радио, и, тем более, в «Повести о Зое и Шуре» своей неискренностью, дидактикой и самохвалством убивала восхищение подвигом дочери. Это была типичная советская училка, к тому же явно прочитывалось, что Шура был нелюбимым ребенком. Все-таки в детстве у меня, судя по отворачиваниям, вкус был. Я был чувствителен к фальши и в стихах, и в прозе.

Еще одно воспоминание о войне. По Москве вели пленных немцев, и мы с Олегом наблюдали их бесконечную колонну. И долго еще после этого немцы снились мне в ночных кошмарах, которые казались ярче действительности.

Марью Григорьевну сменили ясли. Ясли располагались на Кузнецком Мосту напротив магазина подписных изданий. Куда нас в этих яслях на Кузнецком Мосту выводили гулять? Сколько взрослым ни ходил по этим наглухо заасфальтированным просторам, не мог найти.

Вот разве что чахлый скверик между Кузнецким Мостом и Столешниковым переулком. Но отчетливо помню, как высывался из-за железных прутьев ограды и спрашивал прохожего:

– Дядя, вы куда?

– Домой!

И я с тоской отхожу, мне самому домой хочется.

Моей колыбельной была песня «Соловьи». Она и сейчас трогает меня до слез. Вторая – «Спи, мой беби». Это – привет от союзников, начало советской карьеры «борца за мир» Поля Робсона. Союзники, англичане кажется, одарили еще одной песней, смысла которой я долго не понимал:

*Зашел я как-то в кабачок,
Кабачок!
Вино там стоит пятачок,
Пятачок!*

Так вот, кабачок для меня трехлетнего – исключительно овощ, а пятачок – поросятый нос.

Брат Олежек с начала войны жил с тетей Галей в Ярославле и в деревне у няни кузена Ясика Нади в Костромской области. Дома появился, когда мне было два с половиной года. Меня привели от Марьи Григорьевны, и я увидел, что какой-то большой мальчик сидит у моей мамы на коленях. Я разбежался и столкнул наглеца.

Ясли – громадная пустая комната, на стене – репродукция «Утра в сосновом лесу» Шишкина, а на полу – огромный ковер, на котором резвились дети. Я хожу взад-вперед по ковру и бормочу про себя речевые звуки, не оформляя их в слова, пробуя на вкус. Видимо, так, притом бессознательно, вырабатывался поэтический слух. Этот Божий дар совершенствовался потом в редакторской работе, но он же выставлял такие требования, на которые не хватало не то отваги, не то духовной зрелости. Вследствие эстетического страха и лени так мало написал, всего 4 книги: «Ждите гостей» (1985), «Напрасный дар» (1989), «Авелева печать» (1995) и «Жилец» (2005, 2016). Ну, и еще три в соавторстве с женой Алёной.

Гораздо лучше, чем ясли, помню дорогу туда или домой. Мамино горькое воспоминание: «Мама, пошли груши-яблоки смотреть!». Я не знал, что их можно есть, и любовался на витрине коммерческого магазина (в войну были такие, где расплачивались не карточками, а живыми деньгами, которых у мамы, разумеется, и быть не могло). Но я из пути от яслей помню, как смотрел на витрину хозяйственного магазина на Тверской, где демонстрировалась ванна с газовой колонкой, лилась горячая вода, возможно, была подсветка. По улице Горького ходили голубые двухэтажные троллейбусы. Конечно, проехали на втором этаже, поглядывая сверху на пешеходов. Недавно узнал, что эти троллейбусы нам по ленд-лизу прислали англичане. Недолго они красовались на московских улицах. В 1949 году, когда я пошел в школу, их уже не было.

Ребенок я был противный, чему яркое свидетельство – детские фотографии. Коротко стриженные мальчики имели казенный детдомовский вид. В голове тоже варилась казенная фразеология: «Сталин – наш отец» внушалось с ясельного возраста. Поскольку отцы родные пропадали сначала на войне, потом на работе, дети верили педагогам. Мама один раз видела автограф Сталина в 1951 году, и это привело ее в ужас, хотя виза была не только не репрессивная, а очень даже добрая: разрешаю. Великий вождь всего прогрессивного человечества, гений всех времен и народов разрешил Горному надзору (по рангу – не министерству, а всего-навсего главку!) постелить паркетные полы. Вот идеал вертикали власти и источник неуправляемости:

страх таков, что дело компетенции начальника АХО может решить только глава крупнейшего в мире государства.

Из более позднего воспоминания о детском саде, который почему-то называли санаторным. Олег с приятелем на самокатах везут меня по Старопименовскому переулку из этого детского сада. Мне страшно. Почему-то особый страх от крапинок камешков в составе асфальта, которые своим движением в обратную сторону указывают на бешеную скорость. Громкий раскатистый шарк голых подшипников об асфальт – один из основных звуков нашего детства. Во дворах – от самодельных самокатов, на улицах – от тележек безногих инвалидов.

1947 год. Воспитательница читает нам «Ваньку» Чехова. Объясняет мораль: Ванька неправильно написал адрес «На деревню дедушке Константину Макарычу», и до дедушки оно не дошло. Зато его прочитали товарищи Ленин и Сталин и совершили революцию, чтобы освободить бедного Ваньку от мастера-мучителя. Дома подобных глупостей не разоблачали. Был прецедент. В 1938 году мой двоюродный брат Ясик в детском саду, когда завели песню о Сталине мудром, родном и любимом, вдруг возмутился: «Да что мы все про Сталина да про Сталина! Давайте лучше про козла!». Лет до двенадцати я оставался доверчивым сталинистом. Тем более что радио у нас почти не выключалось и хорошо утрамбовывало детские наивные мозги.

В этом детском саду дружил с будущим одноклассником Лериком Воровицким и Геной Антоненко. Гена однажды пришел весь в ажиотаже: он был накануне в цирке и очень живописно рассказывал, захлебываясь от восторга. Я стал канючить: «Хочу в цирк». Но домашние были люди «невоциркувленные», и помню, как папа настойчиво долбит Олегу: «Пойдешь с Михаилом в цирк». Это было мое первое серьезное разочарование. Запомнилось только мороженое в вафельном стаканчике, и фонтан воды из клоуна, которого партнер ударил по животу. Ни акробаты, ни даже фокусник не произвели решительно никакого впечатления. Исстрадался от скуки.

Младенчество было счастливым: взрослые, окружавшие меня, меня любили. И близкие, и соседи по квартире. В первой от входной двери комнате жила добрая тетя Александра Александровна, вечно она мне совала что-нибудь вкусненькое, привезла из Германии и подарила мне губную гармошку (не только она: тогда уйма была трофейных губных гармошек). В 1945 году в Германии у нее был аппендицит, и ее зарезали на операции. Спустя много лет я узнал, что эта добрая тетя пересажала уйму народу в Комакадемии, где она работала. Посадила и соседку по квартире Ольгу, жившую с двумя дочерьми в чулане при кухне. До революции Ольга была у деда прислугой. Вернулась из ссылки году в 1955-м. Еще лет восемь семья мыкалась в крошечном чулане без окна.

Я родился с пороком сердца. Не настолько сильным, чтобы угробить меня во цвете лет, но достаточным, чтобы «в детстве у меня не было детства». Я физически очень слаб. Может, отсюда и возникли приступы агрессии и истребительское отношение к вещам: у кузена Сашки Белододе ломал, к негодованию тети Гали, игрушки. Свои игрушки тоже, конечно, ломал, но это никого не волновало. Мама вообще легко относилась к утратам. Помню, мне лет пять, сижу на горшке и английской булавкой, на которой держались лямки штанов, протыкаю мячик. И другой позорный миг. Тетя Ляля Утлинская подарила нам по сабле. «А она железная?» – и с этими словами переламываю Сашкину саблю через коленку. Сашка младше меня на два с половиной года, но возрастная разница стерлась к раннему отрочеству, и до своей кончины в 2005 году был он мне близким другом.

Когда поступил в институт и оказался в девчачьей группе, сжал ручной силомер: он показал 20 кг, я был слабее всех. Впрочем, тогда это обстоятельство уже никакой роли не играло. Зато в детские годы!.. Меня не бил только ленивый. А побить слабого никому не лень, особенно другим слабым. На своих боках выучил психологический закон: самые злые садисты

– из слабаков. Особенно из тех, кто искусственно нарастил бицепсы изнурительными упражнениями.

Правда, в дошкольном детстве мне доставалось не так, как во дворе, когда я был в первом классе, и в пионерских лагерях. Но в детских садах я стал козлом отпущения. На меня сваливали проказы, о которых я узнавал, когда воспитательницы проводили следствие. Девочки в показаниях на меня были так истовы, а мой лепет так жалок, что никакой веры мне не могло и возникнуть. То я умывальники обрушил, то какую-то змейку из клетки выпустил, то еще что-то, уж не помню что. 37-й год в микродозах.

Летом 1948 года меня отправили в детский сад в Томилино. Папа свалился с инфарктом в июне; когда в родительские дни меня навещали мама с Олегом, все спрашивал, как папа, и почему-то промолчал, не спросил после его смерти. Мама объявила мне об этом по возвращении. Ее утверждение, что умереть придется каждому, утешения не принесло. Я тогда всех опрашивал, даже незнакомых: «Вы знали моего папу?».

В Томилине нас по жаре таскали «любоваться природой» – солнце нещадное, ни деревца, и я на всю жизнь возненавидел открытые пространства. Моя стихия – лес, желательно хвойный, и город. Воспитательница в Томилине скорбела по Жданову, и нам велела скорбеть: вождь советского народа, друг и соратник товарища Сталина. Про художества обоих тогда, разумеется, ничего не знал, печалился вместе со всеми и благополучно о нем забыл, пока не прочитал мерзостей про Зошенко и Ахматову. Но это уже было в отрочестве.

В Заветах Ильича по Ярославской железной дороге была дача Ефимовых.

Тетя Вера, урожденная Шульман, – папина первая жена и мамина подруга. Удивительное дело – их дружба сохранилась на всю жизнь. Я всего два раза видел маму плачущей. Первый раз, когда в январе 1969 года на Камчатке погиб мой троюродный брат Боря Шапиро, ее любимый племянник, а второй – в декабре 1973, когда умерла тетя Вера. Вера Александровна обладала острым умом и чувством юмора – ее дети этих качеств не унаследовали. Они были похожи на отца – тихого и добросовестного инженера, всю жизнь отработавшего на заводе малолитражных автомобилей, но так честно, что уже после выхода на пенсию завод дал ему квартиру. Шуряй – старший, он на год старше Олега, очень любил его и ухаживал, как нянька, когда Олег умирал. Он, пожалуй, был Олегу ближе, чем я, родной брат. Безоговорочно принял Олегово первенство: так сложились у них отношения.

Недовольство миром и судьбой в детстве выражалось фразой «Ни в лесу ни родилась ни елочка». Папе это нравилось, и до сих пор, когда вспоминается эта фраза, в памяти встает папин образ.

Папа был старообразен и выглядел лет на двадцать старше своего возраста. У папы был двойник – великий дирижер Евгений Мравинский. Вообще двойники – это чаще всего не антиподы, как в моем «Жильце», а пары реализовавшихся и нереализовавшихся с одинаковыми, может быть, задатками. Этот сюжет богаче и интереснее, чем литературная игра в антиподов. Видимо, Бог создает на всякий случай несколько персонажей для осуществления какой-то определенной цели: не вышло у одного, получится у другого. В своих подарках бывает рассеян: осматривая меня в младенчестве, великий детский доктор Лагодин сказал, что мое небо – певческий купол. Но к певческому куполу хорошо бы иметь сильные легкие, а главное – музыкальный слух. Но тут Божья щедрость кончилась. Всевышнему достаточно было прото-дьяконского баса Михаила Кузьмича.

С папой связано воспоминание о вафельной трубочке с кремом. Их продавали в расписных ларьках на Пушкинской площади, там, где сейчас памятник. Были торжества по поводу 800-летия Москвы. В 1-м классе несколько ребят еще носили значки, посвященные этой дате: к маленькому ромбику через звено цепочки присоединился большой, синий, на котором изоб-

ражен салют над Спасской башней. Еще помню, как папа ведет меня в детский сад в Старопименовском переулке. Его большую желтую твидовую кепку.

Овладение грамотой зимой 1948–49 г. в детском санатории в Михайловском совпало с детской любовью к девочке Соне. Их было две – сестры-близнецы Сонечка и Верочка, черные кудрявые девочки, Соня покрасивее. Мы даже целовались, и вредная девчонка Зинка наядбедничала воспитательнице. Нас тогда разлучили. Почему-то запомнился оттуда мальчик Ваня, который читал на утреннике «Колокольчики мои» Алексея Толстого.

После этого не мог пропустить ни одной вывески, чтобы не прочитать. Помню, едем с мамой на 1-м троллейбусе в детский сад на Полянку. И я ору на весь троллейбус:

– Мама! Мама! Смотри – в слове «аптека» сразу две ошибки: оптика!

В первом классе хотел писать пьесы под впечатлением радиопостановок. Впоследствии оказалось, что именно драматургического дара я и лишен – мне совершенно не даются конфликтные замыслы, вообще сюжеты: тут мое воображение пасует. Хотя внутри сюжета я с персонажами разбираюсь вроде бы грамотно.

Читать профессионально, т. е. не для развлечения и не удовлетворяясь голым сюжетом, начал благодаря учителю Феликсу Раскольникову в 14 лет, с восьмого класса. И уже не мог воспринимать так называемую приключенческую литературу с тупыми героями, от которых требовалась одна только храбрость. В конце учебного года в классе разгорелся спор, и я один против всех оказался сторонником классики. Главным в книге для меня уже тогда была психология, познание личности.

Как все подростки, очарованные лермонтовским «Героем нашего времени», страшно кривлялся и «печоринствовал». И тут – бац! – «Обыкновенная история». С меня мигом слетело позерство. Подражатели Печорина почему-то принимают форму и суть Грушницкого. Собственно, убивая Грушницкого на дуэли, Печорин убивал подражателя, пародию на самого себя. Грушницкий позволял себе озвучивать и тем самым опошлять сокровенные мысли Печорина.

Как личность я сформировался как раз в 14 лет под влиянием осмысленного чтения русской классики, преподавателя литературы Феликса Расколькова, одноклассников Игоря Берельсона и Володи Быковского. Берельсон со своим волевым напором, иссякшим впоследствии, бурными книжными страстями много лет влиял на меня, оба мы были двоечниками в благополучном по учебе классе, что нас и сблизило. На Быковского же, прикрепленного к нам отличника, чтобы втроем выпускать классную стенгазету, все всегда озирались: он обладал острейшим чувством иронии и самоиронии, всегда и во всем успешен. Он был нацелен на дипломатическую карьеру, и сделал бы ее, не будь этой чертовой саркомы. Кстати, пойти на японское отделения Института восточных языков ему посоветовал я: в ту пору в большой моде был арабский. Да, еще из школьных учителей несомненной яркостью и умом выделялась Эльфрида Моисеевна Абезгауз, у которой я был беспросветным двоечником, пока, по ее словам, не «попал в хорошие руки» репетитора Александра Федоровича, который освободил меня от страха перед математикой, цепенившего меня с первого класса, от уроков арифметики.

Пять институтских лет пролетели, как бы минувя меня. Только двое преподавателей чуждого мне языкознания произвели сильное впечатление: великий лингвист Михаил Викторович Панов и Елена Андреевна Земская, племянница Михаила Булгакова, о чем узнал много лет спустя. Но годы эти зря не пропали. Я тогда сблизился с кузеном Ясиком Белодедом и его компанией по ординатуре 1-го мединститута – Валерой Ларичевым и Володией Леви, а свою компанию привел к нему. Ясик тогда увлекался Ницше и переписывал в толстую общую тетрадь «Так говорил Заратустра». Мой друг Володя Быковский острил: «Ясик почерк вырабатывает». Леви тогда работал в архиве психиатра С. С. Корсакова на Бужениновской, которую переименовали в улицу другого психиатра – Россоломо. Там я прочитал не только «Заратустру», но и всего

переведенного на русский язык профессором Иваном Ермаковым Фрейда. Тот же Быковский называл наши сборища Ассамблеи у Ясика.

Превратности судьбы. Мы всегда опираемся на авторитет старших, оглядываемся на них, ожидая оценки. Но у меня взгляд уходит в пустоту. Грамоту я освоил в конце 1948 года. Папа умер месяца за четыре до этого события, предопределившего, как окажется, мои будущие профессии. Мама успела подержать в руках журнал с первой публикацией моей прозы, но уже не в силах была ее прочитывать. Старший брат Олег всего месяца не дожил до того дня, когда я поставил последнюю точку в романе «Жилец».

Одно утешает: а вдруг они там всё-всё знают про нас...

2016

Путешествие по воду

Нога певца Средней России Константина Паустовского не ступала на тропу вдоль крутого берега Дёржи. А жаль – места у нас таковы, что перо его не удержалось бы в покое. Но тем человек и отличен от Бога, что не вездесущ. Хотя очень может быть, что душа его, освободившаяся от телесного плена, витает над моей головой. Я же думаю о нем, вижу, как он шурит глаза, вглядываясь в даль, распростертую за Волгу, могу вообразить его маленькую фигурку, как съежилась она над удочкой в самом устье Дёржи, где хорошо берет подлещик. И даже завидую ему – у меня всего и улову два-три окунька с детскую ладошку. Нет, определенно душа его здесь, где я ее поместил.

Книг из собрания сочинений брать с собою я не стал, так что тексты, писанные рукой Константина Георгиевича, не соблазнят своим сладостным ритмом – мое перо беспризорно и может позволить себе вытанцовывать на листе все, что ему одному угодно, соблюдая правила правописания и стилистики и руководствуясь здравым смыслом. Постмодернизировать моему перу неудобно. Староват я для таких игр. Нет, не староват, тут что-то другое. Вот Валентин Катаев – у самого гробового входа вдруг затеял шутки с мовизмом. Видно, отмаливал столь экзотическим манером грехи молодого мерзавца, того самого, который поучал Мандельштама: «Правда, по-гречески – мрия».

Не начав пути, мы заблудились. При чем здесь Валентин Катаев – мы по воду идем. Моему перу как раз и угодно поведать миру прелести предстоящего предприятия. Идти нам надо на источник. Их, собственно, два – ближний и дальний. Над ближним струится полая вода Дёржи, и, если дождей не случится, ждать надо дня четыре, пока откроется бетонное кольцо, которым он отделен от общего течения реки. Но и к дальнему дорога не длинна; полсотни метров одолевшему путь от избы до Дёржи – дело плевое. Путь же на реку составляет метров триста-четыреста.

Мы берем два ведра и непременно ковш. И легкие ведра, и ковш ярко-красной пластмассы. Цивилизация! При всех своих преимуществах над оцинкованной или, того тяжелее, эмалированной стариной, она своим цветом и блистающими боками насмешливо и нагло торжествует над тихим покоем пробуждающейся природы. Мой вкус оскорблен, но, раб удобства, смиряюсь.

Итак, идем. Мы – это я и мой верный Барон, сын лайки Байки и ризеншнауцера Корнета, можно сказать, родоначальник новой породы – волго-держский ризенлай, зачатый здесь, в нашей деревне Устье на празднике людей и зверей по поводу дня рождения моей жены.

Все умные книги о воспитании собак предупреждают: не очеловечивайте своего четвероногого друга! Да как это существо не очеловечить, когда – я вижу, вижу! – его на части разрывает та же радость воли и простора, что бьется и во мне самом. Открытая калитка подарила ему весь обозреваемый мир – и солнце, и белое далекое облачко на юго-востоке, и дорожную пыль, и юную, как он сам, тоже вырвавшуюся на свободу, пронзительно-зеленую траву. Смотри, Барон, смотри, втягивай запахи, пробуй на вкус – больше ты такой свежести не увидишь. К следующему нашему приезду трава загустеет, заматереет и до самой осени ее зелень усыпит наши с тобой восторги своим постоянством. Не потускнеют ни трава, ни листва на деревьях, потускнеет наша с тобой радость, мы перестанем различать оттенки, лишь изредка обнаруживая неоднородность цвета, когда вдруг покажется, будто овсы зеленеют с налетом легкой серебристой седины. Но что нам сегодня овсы – они даже росточками не пробились на пашне, влажной и холодной, не выпарившей из себя памяти о снежном покрове.

За молодой сосной лежит розовый гранитный валун, отмеченный всеми деревенскими собаками: здесь прерывается приступ безудержного восторга и счастья. Барон Корнетович на мгновение – ученый, вдумчивый исследователь, всем обонянием он предается анализу, посте-

пенно переходящему в синтез: вот он поднимает голову, взгляд рассеян и сосредоточен куда-то глубоко внутрь. Впечатление такое, будто он только что читал Канта, «Критику чистого разума»: новая мысль кенигсбергского философа оторвала от текста, он поплыл по волне ассоциаций... Плывет, плывет – а за забором напротив приоткрыта калитка. Забыт и розовый валун с лихими росписями местных знаменитостей – Шурика, Лапкина, Чапы и Китти, и Кант забыт с его категорическим императивом, щен рвется в гости.

Самый большой дом на нашей улице принадлежит Веронике – подданной Великого некогда княжества Финляндского, но вот уже больше восьмидесяти лет – суверенной республики Финляндии, богатого соседа вконец обнищавшей от воплощения мечты всего прогрессивного человечества России. Это, кажется, про Финляндию детский поэт, встретивший Великий Октябрь стихотворением «Путаница», сказал: «Только зайныка был паинька...» Теперь паинька заново учит нас элементарным правилам нормальной жизни. Правда, не очень здорово это получается. Бизнес у финляндской подданной шел поначалу блестяще, явное чему свидетельство – просторный барский дом Вероники с открытой террасой для утреннего чаепития по южную сторону и обнимающей дом с севера и запада террасой остекленной – для биллиарда и пинг-понга; напрашивается туда изящный ломберный столик для публики почтенной, предпочитающей вист или пульту-другую преферанса по маленькой.

Но хозяйке теперь не до ломберного стола. Наши, отечественные чиновники вернулись на привычную стезю мздоимства по «новым свободным (они же – рыночные) законам»; а тут и молодые шакалы подросли – ранние морозовы и рябушинские. Зубки у них острые, вонзительные, морали – никакой. Рынок в России еще лет сорок будет саморегулироваться, пока не откроет им глаза на простую истину: надувая партнера, роешь яму себе. Но сейчас они вырыли яму доброй Веронике, она ушла из большого бизнеса в скромный, и только отчаянная, невероятная для холодного западного человека любовь к России удерживает ее от решительного шага. Угадать в ее северном облике отчаянную любовь к России трудно – редкое чувство отразится в ее прозрачных, льдистых глазах.

Вероника с младшей своей сестрой Сари – контрастно на нее непохожей хрупкой кареглазой женщиной – на открытой южной террасе свершают breakfast. Пьют кофе со сливками. Бесцеремонный Барон взлетает на террасу, ожидая улыбок и чего-нибудь вкусенького. Улыбки он получает, но ничего более. Вероника щедра, но в пределах. Ей прекрасно ведомы все чувства и капризы четвероногих друзей: ротвейлер Чапа вышколена ею дай Боже – собака управляется одним строгим взглядом. Правда, если рядом нет кота – тут Чапу не удержит и сама плетка. Барон очень скоро понимает, что запахи бутербродов и печенья не для него и, вежливо помахав хвостом, бежит на мой зов.

Наш путь идет дальше, мимо усадьбы экривена земли русской, а проще говоря, писателя Вячеслава Пьецуха.

Мы с Бароном сокращаем дорогу по его участку, а Пьецух с мансарды хвастается:
– На четвертую страницу перелез!

Посему идти с нами по воду не намерен. И правильно. Пусть сидит и пишет и ненавидит свою прозу до шелкового столыпинского галстука. Все равно ведь потом от четырех страниц останется полторы. Они на время примирят писателя с собственным сочинением. А когда читающая публика скажет веское доброе слово, он позволит себе стаканчик-другой хлебного винца и вновь полюбит человечество, а заодно и прозу свою, для человечества писанную.

В ненависти к своим текстам я, пожалуй, могу с ним и поспорить, но в любви к человечеству заметно уступаю. Даже перед впадением в богатырский сон я, скорее, полюблю отдельную личность, пусть даже на трезвую голову и несимпатичную, но человечество? Я, признаться, и народ не люблю. Любой, не только русский (тут меня господа патриоты не прихватят). Самое это понятие «народ» придумали одни интеллигенты, чтобы охаживать им, как дубиной, других при сонном безразличии тех, кого и зовут народом. И по чьему-либо произволу тебя запросто

могут как бы исключить из народа. А кого-то, наоборот, приласкать с такими словами: «вышел из народа». Куда? Ну куда можно выйти из собственного народа? Во французы, что ли? Ну ладно, мы одиночки, как-нибудь со злыми силлогизмами справимся. Но в устах политиков дело принимает крутой оборот: народ ими понимается как вернейшее средство стравливать людские массы между собой где-нибудь под Лейпцигом в каком-нибудь 1813 году. Или ставить ребром от его имени сакраментальные вопросы: «Чей хлеб ест академик Сахаров?»

Так, размышляя о народе, мы вышли на луг, что начинается сразу за усадьбой русского писателя Пьецуха, через дорогу. Луг здесь не заливной. Едва ли наша Дёржа распростит сюда полые воды свои – ей разливаться и разливаться, чтобы достигнуть таких высот. Ну вот разве что повторится наводнение августа 1942 года, когда после полуторамесячных злых дождей Дёржа, Вазуза и Гжать едва не слились друг с другом.

Несмышленная зелень играет с майским приветливым солнцем и бьет в глаза свежестью и восторгом. Наивная, ну куда, куда она стремится? Солнце, такое ласковое сегодня, еще вдарит по ней беспощадным зноем, еще высекут злые дожди... Но сейчас траве радостно и беззаботно, как и нам с Бароном. Совершенно невероятным представляется тот всамделишный факт, что еще совсем-совсем недавно на нестайший зимний покров грянул мощнейший снегопад и казалось, что эта масса мерзлой воды никогда не растает, трава никогда не взойдет, а деревья навсегда останутся голыми. Но в России, знающей как никто смену времен года, понятия «всегда» и «никогда» весьма сомнительны. Осенью 1904 года под писк младенца, моего отца, старший его брат гимназист 5 класса в крамольном азарте продирался сквозь тяжеловесные конструкции старинного русского языка, которым было написано «Путешествие из Петербурга в Москву», и пребывал в твердом убеждении, что крамольные записки Радищева никогда не будут напечатаны в нашем отечестве. Мне же, племяннику того гимназиста, суждено поплыть на экзамене, схлопотав билет с вопросом о жизни и творчестве глубокомысленного русского философа, глубокочувствительного сострадалца и при всем том отчаянного графомана. Дотянувший кое-как на брошенной добрым экзаменатором соломинке до берега, племянник гимназиста, с жаром продираясь сквозь самиздатские творения, заранее сострадал будущим школярам, распутывающим в сочинениях тугие узлы солженицынской краснокоlesiцы. Надо же – не только племянник гимназиста, но и автор дожил! И въехал в Россию в спецвагоне, как Троцкий по фронтам гражданской войны. Да, ведь и про Троцкого вещалось, что никогда его имя не будет поминаться иначе как с присказкой «Иудушка». И вот вам, пожалуйста – и снег растаял, и про Троцкого с Солженицыным можно рассуждать сколько хочешь. Но – не хочется. Хочется только смотреть и смотреть, как несмышленная зелень играет с майским приветливым солнцем и бьет в глаза свежестью и восторгом.

Не все так радостно на лугу по-над Дёржею. Здесь царствует ива, разбитая молнией. Ее расщепленный обгорелый ствол похож на руки Иова, воздетые к Богу в тот момент, когда потерял он всех сыновей своих, и имущество свое и сам не знает, проклинать ли Господа или молить о пощаде.

Старая эта ива хранит в своем теле пули 1942 года. Едва комсомолцы спели «И врагу никогда не гулять по республикам нашим», враг тут как тут и чуть не ворвался в Москву, беременною мною, но был отброшен и покотился было назад, и вот, вцепившись в берега Дёржи и Волги, как раз и остановился. В день моего появления на свет, как я вычитал из прозы Вячеслава Кондратьева, здесь и были самые жестокие бои. Может, и деревню нашу отобрали у немцев в праздник Благовещения 1942 года. Фронт остановился на целый год именно в деревне Устье. Этот берег Дёржи стал наш. Тот – за немцем. И по Волге: этот берег наш, тот – за немцем.

И пятьдесят с лишним лет назад точно так же несмышленная юная зелень, вырвавшись из-под снежного плена, играла с майским приветливым солнцем и била в глаза солдатам свежестью и восторгом? А на том берегу, на расстоянии выстрела из игрушечного лука был враг? И русский солдат Слава Кондратьев стрелял в немецкого солдата Вольфганга Борхерта, угодив-

шего в эту мясорубку штрафником за антифашистский анекдот? Моя робкая младенческая душа вселялась в тело, а ей навстречу как раз отсюда сплошным потоком возносились святые души убитых подо Ржевом. «Куда!?» – вопрошали они, хлебнувшие земного ада, но душа моя еще не владела речью и безмолвствовала в ответ.

В подтверждение грустным думам подкатывает новенькая «Волга» стального цвета с крутыми ребятками в камуфляже. Сравнительно штатский вид им придают кожаные кепочки, как у московского мэра. Они вытаскивают из багажника металлоискатель и начинают шарить по лугу в удачливом поиске оружия. Очень оно хорошо идет нынче на черном рынке. Это ж когда война кончилась, а мародеры и ныне сосут ее усохшую кровь!

Мой верный Барон тоже возмущен, он страстно облаивает искателей зарытых гранат и пистолетов, и стоит больших трудов отвлечь его от праведного гнева. Силы не в нашу с ним пользу. Как бы чего не вышло. Да и нам нечего стоять, любуясь бывшим немецким Восточным фронтом.

На краю луга раскинули, как итальянские пинии, широченные кроны две сосны. Под ними сооружена скамейка для страстных ночных поцелуев. Мы еще присядем на эту скамейку. За нею – крутой обрыв, под которым запросто можно поставить трехэтажный дом, и лишь телевизионная антенна с его крыши достигнет наших подошв. Вниз ведет некое подобие лестницы, выложенной много лет назад известняковыми плитами, отшлифованными до столовой чистоты тысячами шагов идущих по воду. Ступеней этих разной высоты сорок четыре, я подчитал.

Барон поначалу стоит в робком оцепенении, страшновато ему спускаться с такой высоты. А может, тоже задумался. О народе, например, или о судьбах подпольных самиздатских текстов, или о свойствах сухого корма «Педигри». Хоть он и «лаяй», и громко, на низких, шалыпинских басах лаяй, но загадочно и бессловесно – поди разбери, о чем он так крепко задумался. Я уже одолел добрую половину лестницы, как, едва не сбив меня с ног, вниз проносится прервавший течение молчаливой мысли мой верный пес. Любопытство победило и страх, и задумчивость.

Мы спустились на тропу, как и лестница, выложенную известняковыми плитами. Вода с них сошла с неделю назад, и когда ступаешь, из-под плиты выжимаются бледные струйки. Дорога идет вдоль стены с мощными скальными разломами. Из трещин пробиваются пучки реденькой, но крепкой травы. Она зацветет к июлю пижмой, цикорием, жарками, татарником – растениями сухими и цепкими, но сейчас ее ростки по-майски нежны и ласковы, как бабочки, присевшие на нагретый камень. Камень слоист и полосат, уровни давно исчезнувшего морского берега обозначены на его боках, испещренных лианами сосновых корней, едва-едва зацепившихся за трещинки, как сорвавшийся с вершины и неумолимо соскальзывающий вниз верхолаз, чудом инстинкта вжавшийся в спасительные зазубрины, неприметные глазу, праздно любующемуся красотой гибельного утеса.

Зелень верхнего луга покажется тускла и пустынна, когда глянешь на луг нижний, заливной. Здесь все блистает изумрудом, влажным, прозрачным счастьем соединения воды и травы. В немыслимо радостном, до головокружения, сиянии светятся осколки разбитого оземь солнца. Это калужница болотная весело дразнит глаз и сама не может наглядеться на белый свет. Нет, не все солнце опрокинулось в луг, что-то осталось светиться из голубого с легким белесым оперением неба. Калужницы – единственные пока цветы вдоль бурного течения Дёржи. Ее заросли распирает гордость первородства, и она надменно посматривает на купаву, чья победа еще таится в бутонах.

Как и ожидалось, ближний источник закрыт, его бетонное кольцо еле угадывается под бурой толщей быстрой воды, так она мутна. Дня через три-четыре берег сдвинется, отвоевав заросшую травой пядь земной тверди у течения, а пока надо идти вперед, где желтая калужница танцует кругами, опоясывая дальний источник, вырвавшийся из плена быстротекущей Дёржи.

Река махнула рукой на отбившийся из-под опеки колодец и стремглав понеслась дальше. Она спешит, она торопится, она жаждет покоя, вот втащит зимние снега в ненасытную Волгу и уляжется в тишине и застынет в болотном молчании ракитника, разросшегося по всему устью. Впрочем, здесь, в этом месте, где до устья метров с полтора, нашей Дёрже и в знойном июле не будет покоя. Здесь Дёржа – река горная, она стремится вниз по перекатам к ближнему источнику, а уж после него вдруг останавливается, застигнутая внезапной немотой, тихо застывает и нехотя, по капле отдает свои излишки Волге.

Если подняться по течению Дёржи вверх километра на четыре, вы окажетесь в краю, невероятном для Средней России, где мы, в соответствии с географической картой и средне-обывательском о сем представлении, присутствуем. И не только обывательском. Что-то не приходилось читать о каньонах на юге Тверской области. А каньоны здесь настоящие. Наш крутой спуск к воде со скальными обнажениями и разломами ничтожен по сравнению с тем каньоном, до которого на машине минут пятнадцать. Испанское слово «каньон» чуждо нашему уху, так что здесь он зовется по имени бывшего хозяина разрушенной в коллективизацию мельницы Мудышкиной горою. Верхушки прибрежных сосен не достигают вершины обрыва. Ходить и тем более ездить на каньон рекомендуется исключительно в трезвом виде и никаких пикников желательно не устраивать. Не только потому, что русский пикник оставляет за собой битые бутылки, пивные банки, объедки, кострища и прочие безобразия. Года три назад сюда на тракторе прикатила деревенская свадьба. Тризну по молодым и пятерым их гостям справляли на безопасной равнине.

Охотничья карта Подмосковья, изданная в 1972 году, охватывает и наши места. Они раскрашены бледно-желтым равнинным цветом с пятнами зелени, означающими низменность, и мало чем отличаются от воспетой Паустовским Мещеры в районе Солотчи. Константин Георгиевич, как известно, любил географические карты. Интересно, как он ими пользовался? Ни одна карта, выпущенная в свет при советской власти, не соответствовала реальной местности. Целые институты работали, меняя углы речных излучин, конфигурации холмов, расположения сел и деревень, дремучих лесов и болот. Карты в нашем отечестве издавались исключительно с одной целью: для дезинформации условного противника. А таковым первое в мире государство рабочих и крестьян почитало каждого гражданина Союза Советских Социалистических Республик. По праву своего рождения каждый из нас подозревался в шпионаже в пользу империалистических государств, а посему вынужден был блуждать по собственному отечеству без верных ориентиров.

Тут вспоминается один, весьма курьезный для читателя, но для героя – драматичный, случай. Некий инженер-мостостроитель никак не мог раздобыть сведения о параметрах наших речных судов. Сие была величайшая государственная тайна, а допуска к таковым инженер не имел. Кто-то надумил его, что в Западной Германии едва ли не в любом книжном магазине можно купить справочник со всеми интересующими его сведениями о речных судах мира. По причинам, от него не зависящим, инженер был невыездной, и в Западную Германию мог попасть разве что в прекрасном мечтательном сне. И он решился на шаг почти отчаянный – выписать для своего института немецкий справочник речного судоходства официальным, законным путем. Он написал докладную записку своему непосредственному начальнику. Непосредственный начальник написал другую докладную начальнику вышестоящему. Тот убедил директора института, и директор института особым письмом обратился в министерство. Через месяц письмо директора обросло гроздью виз и попало самому министру. Министр был в добром расположении духа, но иностранной валюты у него не было ни пфеннига, а посему распорядился написать другое письмо – в министерство, облеченное финансовым доверием, чтобы оно выделило сорок девять марок ФРГ и через объединение «Международная книга» купило искомый справочник. Когда свершился круговорот официальных писем, в городе Бонне за сорок девять марок искомый справочник купили, и теперь он сам

пошел гулять по разным ведомствам и через год-полтора после того, как инженер-мостостроитель отважился на бюрократический подвиг, лег ему на стол. Инженер открыл книжку, патристически радуясь тому, что посрамлены скептики с лестничной площадки, где часами мостостроители, не ведая параметров речных судов, томились на перекурах, что и у нас в Советском Союзе, можно добиться желанной цели, доказательством чему – вот он, искомый справочник. Дрожащею от победительного торжества рукою инженер раскрыл книгу. О Боже, что он увидел! А увидел он вот что: все параметры всех видов советских речных судов были тщательнейшим образом замазаны черной непроглядной ни на какой просвет краской. Ибо среди ведомств, по чьим коридорам странствовал западногерманский справочник, был и Комитет по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР. А вдруг, сочли в недреманом комитете по охране государственных тайн, тот инженер, что заказал книжку и ввел родное отечество в расход валютных средств, перепишет ценные сведения о параметрах советских речных судов и продаст за ихние марки германской разведке?

Так вот, если верить охотничьей карте Подмосковья, мы с Бароном находимся вовсе не в деревне Устье – таковой на карте нет, видно, ее присутствие в натуре представляет строжайшую тайну, – а в деревне Саблино. Пять оставшихся от нее домов стоят на берегу Волги километрах в пяти отсюда. Крупнейшего в округе села Борки с барским домом знаменитого в начале XIX столетия драматурга Владислава Озерова, где теперь правление колхоза «Путь Ильича», нет и в помине, хотя поворот на него обозначен на 204-ом километре шоссе Москва – Рига. Здесь тоже не без военной хитрости. На указателе до Борков 13 километров. Шпион, поверив ему, проскочит Борки, до которых всего 8 километров, и окажется в Мозгове, где бдительные сельчане повяжут его и сдадут в органы. Хотя воинских частей в наших краях с 1943 года не было, дорога, ясное дело, стратегическая: на карте она не обозначена. Так что мой терпеливый рассказ о том, как мы с Бароном пошли по воду, можно расценивать как шпионское донесение в некий Центр. Какой? Это уж на усмотрение компетентных людей из компетентных органов. Они лучше меня знают, на какую разведку мы работаем и на чью мельницу прольем воду, которую я сейчас ярко-красным пластмассовым ковшиком переливаю из колодца в ярко-красное пластмассовое ведро. Набрав ведра, пью на редкость мягкую воду, обливаю лицо, руки, дрожь взбадривает и веселит.

И правильно. И хватит о печальном. Эти времена, слава Богу, временно прошли и нечего их вспоминать. Правда, в России подобным эпохам свойственно возвращаться. Может, тому причиной наша мазохистская историческая память. От тихого княжения какого-нибудь Симеона Гордого ничего в народной молве не осталось, зато злодейское правление людоеда Ивана Грозного запечатлелось до единой казни в сладострастной памяти нации. Вот и кличем беду, поминая то батоги Петра, то лагеря товарища Сталина. Впрочем, это ведь все народы обнаруживают мазохизм при взгляде на собственную историю. На них никакие проклятия, даже законодательно установленные, не действуют. В Германии, особенно в восточной, бывшей гэдээровской ее части, родилось целое поколение, готовое, несмотря ни на какие запреты, поклоняться Гитлеру.

Только собрался в обратный путь – шлеп! – и радужный фонтан. Барон влетел в реку, я испугаться за него не успел, а он уж поплыл тем самым стилем, что я освоил в детстве, когда вырвался из пионерских лагерей в настоящую деревню и научился плавать: среди людей этот стиль зовется – по-собачьи. Мокрый, пес выбирается на берег, отряхивается и обжигает меня студенными брызгами. И мчится очертя голову куда-то вперед, глядеть на него радостно, зверь вписался в свою стихию, без него теперь луга не луга.

Отягощенный полными ведрами, ступаю на плиты, нагретые солнцем, я даже сквозь подошвы чувствую их тепло. Капли, пролившиеся из ведра, расползаются по камню и испускают легкий стелющийся пар, мгновенно исчезающий. Когда руки устают, осторожно, чтоб не

расплескать, ставлю ведра на широкие плиты, но, как ни ухищряйся, вода чуть переливается через край и долго еще колеблется в емкости.

Сорок четыре ступени вверх одолеваются не без трудностей. Нога за зиму отвыкла от автоматизма, когда безошибочно угадывала то короткую, то на целый шаг высоту. А посему глаза сосредоточены на лестничной тропе и жизнь видят мелкую, насекомую – строгие муравьиные дороги, роение пробудившихся комаров, жаждущих моей крови. Кстати, о комарах. Вот вам пример дискриминации по половому признаку. Один пьяный гражданин в электричке как-то возгласил, что все беды – от баб. Я ему тогда не поверил, поскольку был молод, влюблен в одну прекрасную даму, потом в другую и третью и иногда даже пользовался успехом, и было это упоительно, пока не поросло бытом, быльем. Но вот уже выдавший виды задумался о комарах... Когда-то давно, классе в шестом проходили, что кровушку нашу сосут комарихи, но слово «комар» рода мужского, и, злобно расчесывая укусы крылатой негодяйки, мало кто вспомнит школьную науку и проклянет весь род мужской, ни в чем не повинный, оболганный правилами русской грамматики, науки точной и объективной.

Наверху взгляд освобождается от пристальной мелочи, простора ему подавай, панорамы. Будет и панорама, только бы мне отдышаться. Пока ставлю ведра и делаю три шага к скамейке для страстных ночных поцелуев, успеваю заметить: из поваленного ствола ивы, что воздела обгорелые руки наподобие Иова с гравюры Густава Доре, вырос целый гребень опушенных сережками веток – жизнь неистребима.

Как пишут в некрологах, перестало биться сердце... Нет, конечно, не перестало – унялось, вошло в свой ритм и теперь неощутимо. Поднимаюсь со скамейки, оборачиваюсь назад, за Дёржу и распаханное поле на том берегу. Говорят, под лен, значит, летом оно будет синее ясного неба – глаз не оторвать, не то, что сейчас, когда бурая супесь торопит взгляд выше и дальше. Скользить ему недалеко. Поле здесь неширокое – Волга течет параллельно своему притоку и в сотне метров от слияния с Дёржей делает навстречу ей резкий поворот под прямым углом. За Волгой поднимаются холмы, то голые, то поросшие кустарником, а иные украшены грядами нежно-оливковых березовых рощ. Одна из них, самая малая, издали напоминает льва, хозяйски обзирающего окрестности.

Рощи свежи и прозрачны. Их робкий цвет отдает в невесомую желтизну. Я пытаюсь угадать происхождение желтизны на бледно-зеленых глянцевых листочках, наконец, присмотревшись к дереву неподалеку от меня, догадываюсь: сережки, покрытые цыплячьим пухом пыльцы, крупнее едва-едва проклюнувшихся листьев и перебивают их глянec, тоже с легкой прожелтью – солнечный луч отскакивает от упругой зелени. Ветра обдуют спелые сережки, снесут пыльцу, а листва пойдет в рост, загустеет, и дня через три-четыре обретет вполне летний вид. Весну же будут демонстрировать на ее заматерелом фоне облачка пока еще лиловой кроны осин и редких кленов – их черед еще не настал, соки бьются в почки, ожидая выхода.

Писк металлоискателя вырывает из тихого, блаженно-мечтательного состояния. Мародеры в пыльных кепках на звук аппарата вонзают в сырую песчаную землю остро отточенные саперные лопаты, и хотя они далеко, слышится (или чудится) ржавый скрежет, и мороз продирает по коже, и опять я думаю о войне в день моего рождения через 1943 года после явления Архангела Гавриила Пресвятой Богородице деве Марии. Сейчас это кажется невероятным – чтобы перейти вон то поле, распаханное под лен и имеющее глубины всего-навсего жалкую сотню метров, пресеклись десятки жизней по бездумному приказу любимого вождя – отсечь Ржевский выступ иссякшими в успешной битве силами. Природа приказа понятна – головокружение от успехов. Да солдатам-то от этого было не легче. Они шли и шли, рота за ротой, батальон за батальоном, и гибли, гибли, гибли. Дёржа впадала в Волгу розовой от крови.

Юные вертеры, одетые в черные эсэсовские мундиры, смахнув сентиментальную слезу по красавице Лотте, с хладнокровным азартом расстреливали онегиных и печориных, стряхивая с них лень и тяжкие думы. Если прямой наводкой попадали в русского солдата и его разрывало в

куски, погибшего в сводках числили пропавшим без вести. Уже действовал людоедский приказ «Ни шагу назад!» и обрекал семью героя на позор: пропавший без вести – значит, пленный, а пленный – ясное дело, изменник родины. Писари такого будущего своих товарищей не знали, и отшлепывали привычными штампами их судьбы.

С чего это я вдруг о вертерах? Вот с чего. В пору нежной дружбы Молотова и Риббентропа, нежнее, чем Манилова с Чичиковым, в московских филателистических магазинах запросто можно было купить почтовые марки фашистской Германии. Альбом с марками мне достался в наследство от старшего брата, и я с обостренным любопытством рассматривал натуральные изображения Гитлера, дивясь тому, что карикатуристам нечего было утрировать: опереточное ничтожество рейхсканцлера бросалось даже в мои детские глаза. И как он сумел одурачить целые народы? Но, кроме фюрера, были и другие портреты: Гете, Шиллера, Моцарта, Бетховена.

Оборотная сторона славы. Нищие духом потомки натягивают ее на себя и, хотя в современности ведут себя точно так же, как те, кто сжил когда-то гениев со свету и затерял могилы Моцарта и Шуберта, мнят себя прямыми наследниками великих. А угоди те же Гете, Шиллер и Бетховен в XX век, быть бы им рассеянным по Равенсбрюкам и Дахау. Но они вовремя умерли и украшают своими портретами знаки государственной почтовой оплаты. Это называется национальной гордостью.

Наши патриоты тоже не лучше. Потомки Булгарина, Дантеса и Мартынова, с каким наслаждением они по команде «фас!» рвали в куски поочередно Цветаеву, Мандельштама, Бабеля, Платонова, разоблачали антинародную сущность Зощенко и Ахматовой, травили Юрия Казакова, Паустовского... Но каждый год 6 июня сбиваются в кучки вокруг мемориалов давно убитого Пушкина, стихи читают, больше, правда, своего изготовления и льют по нему нескую слезу. Позора за его раннюю гибель никто на себя не берет. А что это за любовь к родине без стыда за ее преступления?

Патриоты что пограмотней едко мне заметят, что убийца Пушкина был француз и восторжествуют над моим невежеством. Так ведь не простой француз, а шуан – тоже своего рода патриот. И кто пригрел этого шуана? Вот-вот, они самые – истовые проповедники православия, самодержавия и народности. То-то они так разобиделись на лермонтовские стихи.

Мародеры за моей спиной склонились молча над вырытой ямкой. Скребнут, скребнут – выскребли. Пряжку от солдатского ремня. С разочарованным матерком швыряют ненужную вещь мне под ноги.

– Барон, ко мне! – Зов мой напрасен. Пес исчез. Я кричу, свищу, гневаюсь, за гневом скрывая волнение – упустил, недоглядел, а несчастный сын лайки и ризеншнауцера заблудился, упал в яму или большие, злые собаки терзают его.

И когда я потерял последнюю надежду докричаться, вдруг выныривает из кустов. Надо бы отругать, оттрепать за шею, но я так рад, что он целехонек – лишь укоряю взглядом. Оказывается, и взгляда достаточно: Барон виновато поджимает уши и бредет за мною понуро шагов пятнадцать. Дальше его снова распирает радость жизни, и он рвется вперед, но тут уж я его осаживаю и заставляю идти хотя бы приблизительно рядом.

Обратный путь дольше и почти лишен праздных мыслей. Барон слегка разочарован. Я ему обещал порассуждать о королях и капусте, но темы их как-то не легли в течение мыслей сегодняшнего майского дня. Ну что ж, Барон, о королях и капусте поговорим в следующий раз, когда, сменив ведра на корзинку, где-нибудь в июле-августе пойдем в ближнюю рощу за белыми, маслятами и подберезовиками.

Хождение за три леса

I

– Ну что, Барон?

– Как, неужели по грибы?! – отвечает весь вид нашего пса. Барон резво подпрыгнул на месте, тут же сорвался и бешеными скачками помчал к калитке. Иногда и вопроса не надо – достнешь корзину, а этот хвостатый интеллектual все уже понял.

Итак, вдвоем идем в лес. Впрочем, понятие вдвоем – условное. Скорость Барона, умноженная счастьем свободы, такова, что только черное колечко хвоста мелькает где-то у грибка, едва я закрыл калитку. Уже на расстоянии невидимому псу внушаю ленинскую мысль: «Мы пойдем другим путем». И направляюсь в сторону Дёржи. Там начинается лес, похожий на Подмоскowie вдоль Рязанской дороги. Только здесь царствует красота, не замученная изобилием дач и заборов, толпами отдыхающих и стадами автомобилей.

Едва я вышел к реке – несется Барон. Даже не взглянул на хозяина, у него свои дела. Нашел меня – и ладно. И устремился вниз, к воде.

Сосны над Дёржей стоят в отдалении друг от друга, а потому кроны их широко простираются над головой, подавляя березовую и рябиновую мелочь. Река внизу бурлива, вода шумит, как духовые в оркестре, сопровождающие соло птиц на фортепьяно. В ясный день солнце пахнет хвоей. Вот-вот грянет осень, а трава под соснами молодая и свежее-зеленая, как в мае, зато в стороне от них – уже высокая и жухлая. По земле стелются жилы сосновых корней, из-под них вдруг выглянет шляпка прорастающего белого. И это на самой дороге!

Взрослый человек, старый грибник, а радуюсь, как семилетний мальчик, когда в детском саду на берегу Оки под Каширой впервые оказался в грибных местах – там было множество маслят в устланном желтыми иглами сосновом бору. Сосны стояли корабельные, пахло смолой и речным песком от красивейшей в мире реки.

Азарт с его радостями рушит границы, возведенные в душе нажитым опытом, возвращает детские ощущения – ничто пережитое не пропадает. В основе поэзии лежит наша эмоциональная память – о зрительных, слуховых и вкусовых впечатлениях, о запахах. При хорошо развитом воображении провалы памяти подменяет фантазия, и спелые ее плоды бывают на вкус и цвет богаче и, что поразительно, – убедительнее непосредственных переживаний. Все случайное отлетает, и воображение включено на полную мощность. Из неприятностей остаются самые острые, дающие импульс осмыслению: понимание сглаживает боль, а то и примиряет с ней. Но в этом человеческом качестве есть опасность обольщения и самообольщения прошлым. Спросите любого недовольного нынешним порядком вещей, ни за что не вспомнит, что году в 1974 на всем пространстве Союза Советских Социалистических Республик от Калининграда до мыса Дежнева не было в продаже ни одного полотенца. А это ведь еще неразвитый социализм, нереальный. К развитому мы победили остальные товары. Кроме ракет, разумеется. Кстати, именно в 1974 году я открыл основной закон политэкономии социализма – Закон исчезновения материи. Звучит он так: если материя в том или ином своем воплощении исчезла в одной торговой точке, значит, она пропадет во всех торговых точках Союза Советских Социалистических Республик. А в 1981 созрело дополнение к нему: на месте исчезнувшей материи образуется министерство по ее производству. Тогда как раз возникло министерство плодоовощной продукции, заняло трехэтажный особняк и громадный доходный дом в Скертном переулке, а как бы в задах его, на Большой Никитской, в овощном отделе знаменитого магазина «Консервы» в июле отсутствовали огурцы.

Однако я заболтался, а слева что-то мелькнуло. Мелькнуло и снова скрылось с глаз, надо сделать полшага назад, всмотреться – да вот он, голубчик. Бельский. Темно-темно-коричневая шляпка водружена на белое тело кустодиевской купчихи. Шляпка щегольски перерезана прилипшей травинкой, теперь на ней ярко-желтый шрам: травинку-то я, вывинчивая гриб, снял. Жадно шарю глазами вокруг – напрасно, рядом пустота, можно опять выйти к краю дороги, по которой когда-то гоняли коров. Чтобы не сорвались с обрыва, край огорожен колючей проволокой, судя по всему – немецкой: колючки чаще, а железо крепче, и ржа не сожрала ее за 64 года насквозь. Наша попроще и пореже – мы всегда и во всем брали количеством. Да и проволоки Сталину нужно было куда больше, чем Гитлеру: в одной только Магаданской области этих освенцимов были сотни. Огражденные ею пустынные территории я видел вдоль всей Транссибирской магистрали, едва поезд перевалил за Урал. А на Колыме, где я проучительствовал 1965/66 учебный год, сорок лет назад эти памятники великой эпохи торчали чуть ли не каждые десять километров пути. Здесь колючка фронтовая – памятник страшнейшей битвы Второй мировой войны, самой кровавой и самой бесславной для обеих сторон – Ржевской. Если Курск и операция «Багратион» воплощали стратегический гений нашего командования, то под Ржевом была воплощена вся его бездарность и полное безразличие к жизни собственных солдат. За деревню Свиныно, которую держал батальон гитлеровцев, мы положили едва ли не две дивизии.

Прочь дурные мысли! Там, за колючей проволокой, где к склону крутого берега прицепилась неведомо каким образом гигантская береза, так вот прямо под ней вырос великолепный гриб. Он гордо расправил шляпку на высокой ножке, смотрит эдаким гренадером: пойдешь достанешь!

А пойду! Только надо осторожно подлезть под проволоку, а за ней надо еще осторожнее – не дай Бог поскользнешься, до дна с хороший двухэтажный дом. Но тут и кочки, и валуны, так что тихо-тихо, но до этого красавца добираться, винтом отдираю от грибницы и так же осторожно ползу наверх, под проволоку.

Уф! Добрался. Теперь хорошо бы посмотреть, не зря ли пустился на такое упражнение в старческой ловкости, хотя ножка вроде бы крепкая на ощупь. Прекрасно – ни дырочки! От среза исходит тонкий, едва ощутимый грибной запах. Моему Барону этот запах неинтересен, он где-то внизу шлепает по воде и спугивает птиц. Говорят, во Франции выучивают собак отыскивать в земле трюфели. Я вздыхаю печально – Барона уже ничему не научишь. Потомок лайки, он, стоит выйти за калитку, уносится черт-те куда, чтобы явиться с самой неожиданной стороны и только когда ему заблагорассудится. Чаще всего благорассуждается ему в такой момент, когда попадаешь на золотую россыпь лисичек. Осторожненько, чтоб не дай Бог не раздавить случайно скрывающуюся под листвой маленькую шляпку, становишься на колени или присаживаешься на корточки, тут вдруг, сметая все на пути, мчится к тебе добродушный пес – он, бедный, соскучился, ему надо немедленно проявить любовь и нежность, лизнуть в лицо, прижаться; может и опрокинуть, если некрепко сидишь на согнутой ноге. Что ему твои лисички – он воплощенная преданность! Минуты три спустя этого преданного до умопомрачения существа и след простыл, а ты собираешь обломки хрупких рыженьких грибочков, раздавленных его любовной прытью.

Только подумал – он тут как тут. Мокрый, отряхивает брызги, так что даже на лицо мне попадают освежающие капли, делает вокруг пару ритуальных кругов и снова исчезает уже в противоположном направлении: за короткой лесной полосой – овсяное поле. В этом у нас с ним вкусы не сходятся. На открытом пространстве я вспоминаю Апухтина:

Да, жизнь прожить – не поле перейти.
Но поле перейти мне все-таки труднее.

Мне тоже. Я бреду через поле, особенно в жару, а у нас еще и в горку, едва-едва, с одышкой, а всего-то ходу метров двести-триста. Но стоит войти в лес – я дышу легко и свободно и готов пропадать в нем хоть пять часов.

А хороший поэт был Алексей Николаевич Апухтин. Родись он где-нибудь в Голландии или Люксембурге, странах, обильных на тучных коров и скудных на поэтические дарования, слава его была б мировой. А к нам природа была так щедра, что имя Апухтина завалилось куда-то в длинный ряд второстепенных. Ну и что ж, что завалилось? Вспомнил же я его сейчас, по случаю. Опять же и романсов немало. Впрочем, слава романса чаще достается композитору, тем более что стихи Алексея Николаевича на музыку сам Чайковский перекладывал. Да Бог с ней, со славою. Поэт обязан хоть строчку после себя оставить. От Надежды Львовой всего-то, на мой вкус, две строчки сохранились:

Белый, белый, белый, белый,
Беспредельный белый снег...

И я их твержу спустя 91 год после глупого самоубийства девчонки, безраздельно влюбленной в Брюсова.

Эк занесло! А ведь начал-то всего лишь с отношения к открытым пространствам.

Я человек двух стихий – города и леса. Равнодушен к морю, не люблю поля и степи, а пустыни, хоть и не видел, заведомо ненавижу. Даже читать о степях и пустынях скучно. Но в широколиственных лесах, лишенных хвои, мне тоже неуютно. На Колыме в долине, окруженной сопками, я прожил, как в театральной декорации, такое же впечатление вынес и от Кавказа. Видимо, человек – существо ограниченное, в том числе и географически.

Раннее детство прошло в детских садах дачного Подмоскovie, которое не произвело никакого впечатления, а в Томилине в 1948 году было особенно плохо. Злые воспитательницы, окруженные ябедницами-фаворитками, вечно меня за что-то наказывали, причем чаще всего о событии преступления я узнавал в момент вынесения приговора. Нас таскали по каким-то жарким полям «наблюдать природу» в сторону села Жилина, его церковь, проезжая потом по Рязанке, я узнал. В результате этих «наблюдений природы» возненавидел и природу, и особенно неотъемлемую часть ее – русское поле. С природой вообще смирился и полюбил, поля – нет. А кроме того всё лето болел и в августе умер папа. Вернувшись в Москву, я узнал смысл слов «кладбище» и «могила».

Зато следующим летом я попал на берег Оки – поразительно живописный, там нас водили в настоящий лес, и в Оку я влюбился. Где бы я ни видел эту реку: в Мещере, в старинной Калуге, под крутым обрывом холмистой Тарусы – везде она главенствовала в пейзаже своими песчаными отмелями и дремучими лесами по берегам.

Но в настоящий русский лес я погрузился летом 1954 года на границе Ярославской и Костромской областей в деревне Титовское у станции с очаровательным и загадочным названием Сахареж. Там были две знаменитые ели – Ёлка Бабушка и Ёлка Тётя Дуня, высоченные стройные красавицы. Ель вообще мое любимое дерево, я ее вижу во всех русских сказках про дремучие леса. Что-то завораживающее в ее темно-зеленом конусе, немного жутковатое, но и притягательное: нас же всегда притягивает некая жуть. А конус – ее геометрическая форма. Я помню, в детстве в метро встречал армянского священника в черном клобуке и побаивался, а глаз оторвать не мог.

Хвойный лес на горизонте пробуждает мистическое воображение. Знаешь, что ничего необыкновенного там нет, эта полоса и на полкилометра в глубину не уходит, а всё ждешь, будто Серый волк выскочит или Баба Яга в ступе вознесется над синими елями. Леса сугубо лиственные, как в пушкинском Болдине и соседней Львовке, где я проводил лето 1957 года, пусть даже и бескрайние, в которые зайди без компаса и через пять минут заблудишься, такого

ощущения не дают. И язык не поворачивается назвать их дремучими. Это клен или ясень дремлют? Они даже без ветра шелестят.

Природа Михайловского мне ближе болдинской. И Пушкина в Михайловском легче представить себе, чем в Болдине. Александр Сергеевич и сформировался в Михайловском. Его южные поэмы сильно отдают Ленским, что автор и сам впоследствии признал. Именно в Михайловском освоил он труднейшую из наук – «удерживать внимание долгих дум». А в Болдино приехал в самую счастливую для пишущего пору: уже достиг змеиной мудрости и еще не растратил ни духовных, ни физических сил. Да и осень была золотая, в лиственном краю гораздо более богатая красками, нежели в хвойном с легким березово-осиновым вкраплением, а потом – голая, предзимняя, с морозным свежим воздухом и запахами садовых и диких яблок, обильных в этом краю.

Больше всего в «Каменном госте», сообразуясь с местом и временем написания, люблю фразу: «А далеко, на севере – в Париже»...

Здесь столько мечтательной тоски, что в неизбежную паузу проваливается весь сюжет, вся мысль, весь уже прочитанный текст. Он вернется к концу монолога, обогащенный этой мечтательной тоской. Но пока длится пауза, плакать хочется – и вовсе не о красавице несчастной Лауре, не об убиенном доне Карлосе и тем более не о доне Гуане, а о самом Александре Сергеевиче, запертом в холерном карантине с ежедневной опасностью подцепить смертельную заразу, о Пушкине невыездом, который вместо Парижа увидит оловянные глаза его императорского величества: НЕ ПУЩУ!

А при всем при том, какое это было наслаждение – сидеть в глухой нижегородской дыре, за окном злой ноябрьский ветер метет острый холодный снег, морозный воздух струится из форточки, но барский дом натоplen, перо само летит, вспархивая над бумагой, оставляя за собою:

Румяный критик мой,
Насмешник толстопузый...

А вот радости углядеть спрятанный в палой листве краешек шляпки боровичка или подосиновика Пушкин, кажется, не испытывал, во всяком случае, страсти этой не обнаруживается ни в прозе, ни даже в письмах. Вообще-то русская литература бедновата грибами – старик Аксаков да наш современник Солоухин. Вот, пожалуй, и все. Тургенев, Некрасов, Пришвин с Казаковым – губители птиц и зверей, охотники, Паустовский все больше с удочкой под раки-товым кустом, а такое азартное дело да еще в глубине красивейших лесов почему-то почти не оставило следа в русской литературе. И ягодам никто, кажется, не радовался. Один только Бергман прославил земляничную поляну, но это не русская литература, а шведское кино. На мой малопросвещенный взгляд, почти одно и то же. Я равняюсь по Духу, который дышит, где хочет. Захотелось ему после живописи Возрождения и русской литературы подышать в шведском кино – пожалуйста, для меня все доступные моему пониманию произведения искусства равнозначны. В январе 1966 года «Земляничную поляну» ненароком завезли в клуб поселка Нелькоба, и к середине сеанса я остался единственным зрителем этого шедевра.

В какие, однако, дебри заводят рассуждения о грибах.

Я тем временем стою на вершине крутого берега Дёржи, шаг за проволоку – и обрыв из бледно-желтого известняка, прорезанного змеевидными корнями сосен и ключьями отцветших трав, среди которых изредка вспыхивают голубые фонари цикория. Бурлит, бурлит река – совершенно горная, как на Урале, а метрах в пятидесяти от впадения в Волгу вдруг замрет, скрывшись в густом ивняке – недавнем жилище бобров, изгнанных нелюбезным соседом Валерой из Ржева. Чем они ему мешали? Зато он по всему берегу Дёржи вдоль деревни посадил сосенки и елочки, так что внуки мои будут гулять в хвойном бору.

Причуды речных извивов. От деревни Мозгово, которую вижу отсюда, Волга делает поворот под прямым углом и течет параллельно Дёрже на запад, чтобы на окраине нашей деревни сделать новый такой же поворот под прямым углом и опять двинуть воды свои на Север, к Угличу, так что, переплыв ее и направив стопы куда глаза глядят, попадешь в Западную Европу, тогда как левобережье основного течения от Ярославля поведет путника на Урал и дальше – в азиатскую Сибирь... Волга отсюда кажется медлительной и спокойной, в отличие от рокочущего притока.

Странная наша Дёржа: обычно реки и ручьи к устью ускоряют свой бег, с облегчением сваливая в могучую Волгу свой тяжкий груз и еще более тяжкую ответственность за него: на, матушка, носи сама. А эта – разве что не болото в устье. Когда заплываешь в Волгу, на ее стремнине течение холодное и быстрое, так что ее внешний покой, как отсюда кажется, – иллюзия.

А моя дорога резко идет под уклон, сосну сменит сырая ольха, и в который раз я мысленно поймаю любимого поэта в любимой песне на поэтической неточности, заимствованной от невнимательных цыган:

На горе стоит ольха,
А под горою – вишня...

В природе все наоборот: ольха – дерево низменное, любит влагу и окружает своими зарослями низкие берега рек и болота. А вишня любит солнышко и предпочитает расти на горках. Но не берусь утверждать столь категорично: почему-то в нашей деревне на вершине холма сыро, влажно и произрастают ольха и крушина, а мой участок – под горой, и на солнышке хоть худо и бедно, но две вишни выросли, чтобы померзнуть недавней зимой, очень крутой: мы подобного с нового 1979 года не видавали. Тогда в Подмоскovie яблони даже зимних сортов вымерзли. Впрочем, вишни я обрезал, и они ожили, дали ростки снизу.

Вторая ошибка у Высоцкого, покруче будет:

Но и в церкви все не так,
Дьяки курят ладан...

Ладан курят не дьяки, а дьяконы. Дьяк на Руси – это чиновник. В церкви же служат дьяконы и дьячки. Суффикс здесь не оттеночный уменьшительно-ласкательный, а словообразующий, смысловой. Дьячок – церковный пролетариат и называется не священнослужителем, как сам священник и дьякон, а церковнослужителем: следующая ступенька – пономарь, за ним – псаломщик.

Просветить автора не успел – я его видел живым всего несколько минут. Но вообще по этой части мы, дети «научного атеизма», всем поколением невежественны. Я и сам просвещен потому только, что являюсь прямым потомком этих самых церковных пролетариев восемнадцатого века из села Ведерницы Дмитровского уезда. Но в одном Владимир Семенович прав на века:

Все не так, ребята!

Это во мне старый редактор зудит, может, еще и выкину занудные абзацы. В конце концов, и классики не свободны от ошибок. То у Пушкина выскочат вдруг дурацкие слияния – «слыхали львы» и «сосна садится в ванну со льдом», то у Лермонтова львица с гривой. Только что вычитал у Сервантеса приведенную в самооправдание цитату из Горация, который, в свою очередь, тоже отбивался от критиков, уличивших его в каких-то погрешностях: «Случается и

Гомеру задремать». Да и сам уж сколько раз прокалывался – стыдно вспоминать. Публично уличен Зеевом Бар-Селлой в том, что в романе «Жилец» ляпнул о советском городе Кишиневе, который на самом-то деле в описываемое время принадлежал Румынии. Что я, не знал, что Кишинев мы у румын отобрали в 1940 году по сговору Молотова и Риббентропа? Знал, конечно. Но это знание не включилось в сознание, когда писал. И у тех, кто читал до Зеева, – тоже. Два известных писателя задали уйму дельных вопросов, я полгода избавлялся от увиденных ими ошибок в сфере языка и психологии, но Кишинева и они не заметили. Еще хуже – ошибка в эссе «Поток», где я вместо «Принцессы Грёзы» назвал панно Врубеля «Царицей Савской». Декаденты обратили почему-то на эту царицу свой взор, отсюда и ошибка. Но меня это никак не оправдывает. Интересно, всю жизнь вылавливал ошибки у авторов, а сам не могу цитаты привести без промаха, тщательно переписывая с источника.

В свое время довелось мне редактировать монографию доктора филологических наук профессора Захаркина. Стилистика этого быстрого разумом учителя юности была такова: «Некрасов изобразил Музу в виде крестьянской девушки, наказываемой кнутом». Редактура превратилась в негритянство в чистом виде. Главу о Некрасове практически пришлось писать заново. За одно Захаркину спасибо – я сделал для себя сногшибательное открытие: оказывается, Николай Алексеевич Некрасов – на самом деле великий русский поэт, несмотря даже на плохие стихи в хрестоматиях. Но любовь к Некрасову – мое личное дело, а вот когда я завершил свой труд, пришлось немало покраснеть: Захаркина, т. е. меня, печатно уличили во вранье в цитатах.

Собирая материал для книги о Лорис-Меликове, наткнулся на рассказ печника Зимнего дворца о покушении Соловьева на императора Александра Второго. Переписываю: «Злодей-то целится, целится, а его императорское величество всемиловейше уклоняются». Так вот, переписывая, пропускаю то единственное слово, ради которого и схватился за рассказ печника: «всемиловейше»! Хорошо, жена и соавтор сидела рядом.

Прецедент мало утешает, но вот Паустовский тоже отличался небрежностью в цитатах, на что его литературный секретарь и исследователь Лев Левицкий указывал в примечаниях к прижизненному собранию сочинений. Выходит, автор знал о своих оплошностях. Знал, но не исправил.

Почему-то пишуший, видимо в силу неуёмного творческого зуда, при переписывании не удерживается от подмен. И отнюдь не улучшения ради: даже если и совершь лучше, чем у автора, утрачивается частица его личности, отраженная в потерянном слове. Просто наша глупая память подсовывает синонимы, но абсолютных синонимов не бывает: каждый звук вносит свой если не смысловой, то уж точно эмоциональный оттенок.

Не любой подберезовик назовешь чельшком. Чельшок – маленький, с дочерна коричневой шляпкой, вот он, кстати, и высунулся у края дороги. А старший его брат уже расправил шляпку во всю ширь, и таким уютным словечком его не укроешь. Полный вроде бы синоним чельшку – обабок. Да то-то и оно, что вроде бы. Уже нет укромности, напротив – тут, скорее, не таинство произрастания, а уже результат – вырост на загляденье.

Лес в этом месте обрывается внезапно, и мы с Бароном оказываемся перед широченным – аж голова закружилась – заливным лугом, в июне покрытым лиловато-голубым облаком от обилия колокольчиков. А сейчас только и увидишь что малиновый луговой василек да бодяк. Это цветы запоздалые, нынче даже цикорий усох, так – вспыхнет один-другой, а какие голубые фонари сияли еще неделю назад!

Ты, Барон, и не знаешь, что опустевший, до бурой желтизны выцветший луг – верный признак твоей грядущей беды: кончается свобода, не гулять тебе до будущей весны по просторам, не переплывать Дёржу, чтобы носиться по другому заливному лугу – между Дёржей и Волгой, а судьба твоя – пятачок газона во дворе, а если не со мной, а с хозяйкой гулять, так вообще на привязи. Ты не хуже меня знаешь, как она боится тебя отпускать, и даже в лесу, когда ты

отрываешься на волю, она ежеминутно вскрикивает: «Где собака?». Всё ей мерещится, будто злые медведи терзают тебя. Или стая жадных, голодных волков. Или даже зайцев. Помню, ее чуть удар не хватил, когда ты по овсяному полю погнал ушастого марафонца.

Перед нами на той стороне луга – опустевший загон. Последний пастух Боря, растатуированный так, что вся кожа являла собой синий неразборчивый орнамент, спился окончательно, и стадо перевели в Никифоровское: там нынешней зимой председатель колхоза «Сознательный» закодировал от алкоголизма всех мужиков. Удивительно, но попросить помочь в домашних работах все равно некого: протрезвев, наши пейзажи утратили стимул для заработка. О, таинственная славянская душа! Луг, некошенный и не объединенный коровами, зарос высокой выцветшей травой, давно не веселящей глаз, зато цепляющейся за ноги и затрудняющей ход.

– Нет, Барон, в Новую мы не пойдем. Там злой, несмотря на опереточное имя, Эдвин, которому ты, правда, дал взбучку, но каково мне вступать из-за тебя в неловкие объяснения с его знаменитым хозяином. Ты не знаешь, кто хозяин Эдвина? Темный, невежественный пес. Это же ярчайшая из всех звезд, когда-либо сиявших на опереточном небосклоне Герард Васильев.

Я, правда, не пес, но тоже темный и невежественный и совершенно ничего тебе не могу рассказать об оперетте. Ничто меня с ней не связывает. Разве что фотография папы в окружении выпускников музыкального техникума им. А. К. Глазунова, где он преподавал и был завучем. Из того техникума вышли многие звезды оперетты. Одна из них – Татьяна Шмыга. Есть два рода искусства, которые мне чужды с детства. Это оперетта и цирк. Я всегда завидовал Куприну, читая его цирковые рассказы: не дано мне постигнуть прелести арены. Так что когда речь заходит о цирке или оперетте, тут я, как мастер из авторемонтного ангара Владимир Иванович. Как-то при нем зашел разговор о змеях, и он сказал: «О змеях ничего не знаю. Вот если бы они были из железа...»

Кстати о змеях. На пятый год жизни в деревне я узнаю, что мы поселились в самом богатом в Средней России ареале гадюк обыкновенных. Каньон – наша гордость, будто с Урала или из северо-западного угла США перенесенный пейзаж – их любимое обиталище. Отсюда они распространяются по всей Руси великой, заползая и на наш участок.

Как-то утром я задумался о притягательной силе смерти, вспомнив, что лет в пятнадцать – семнадцать «юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться» и, пренебрегши советом Козьмы Пруткова погодить, не дождавшись, когда лето воротится, очень многие Шмидты таки застреливаются. В позднем отрочестве покончили с собой несколько моих сверстников. Да и сам я, прочитав на каких-то маминых каплях страшное слово «Venepa», однажды глотнул из пузырька. Потом эта влекущая сила ослабевает, но не отпускает до конца даже глубоких стариков. Говорили, что великий детский доктор Сперанский, перешагнув за девяносто пять, выбросился из окна. Я в азарте мысли фразу такую записал: «У смерти глаза удава». Довольный, отправился к сараю в состоянии рассеянной задумчивости, то есть в том, когда перед собой ничего не видишь. И вот, потянувшись открывать дверь, вдруг увидел на пороге черный, блистающий на солнце чешуёй клубочек. Аспид. Тот самый, окаянный. Змея испугалась раньше и юркнула под сарай. Фраза, которой только что гордился, как всегда бывает с красивыми фразами, тотчас же осыпалась, как новогодняя елка к празднику Крещения, явила всю свою пустую пышность и окатила с ног до головы стыдом.

А потом вдруг сообразил, что запросто мог и наступить на змею, и эта дурацкая фраза стала бы последней. Если нет загробной жизни, то не все ли равно, что после тебя останется в черновиках? Мало ли с каким глупостями на устах люди уходят из жизни. А если есть? Ад в моем представлении вовсе не сковородка с жареными душами, а ясность, с которой видишь все свои глупости, пошлости, воплощенные и невоплощенные умыслы, и тут стораешься от стыда за все. Добрых же дел за тобой так мало, и доброта их столь сомнительна, что несколько охлаждающих капелек только усилят мучение.

А для писателя ад – переселение души в воплощенные произведения. Какой-нибудь Павленко вкушает чахлое свое «Счастье», а мятущийся дух Всеволода Кочетова, освобожденный от штампов, бродит между убогими мыслью и характером братьями Ершовыми и секретарями обкомов, и даже Журбины всем семейством не приносят успокоения. Впрочем, об этом у меня целая повесть, если кто не читал. «Ушелец» называется.

А если все же загробной жизни нет, есть некоторая неловкость перед теми, кто когда-нибудь прочтет. Я не внял завету Пастернака «не надо заводить архива, над рукописями трястись». Потому что довелось перебирать черновые листочки в РГАЛИ. И проследить, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Черновики разные бывают. Это дилетанты полагают, что какой-нибудь рассказ улучшается от варианта к варианту. Вовсе не обязательно: окончательный вариант свидетельствует о состоянии писателя в момент, когда он откинулся от стола и сказал себе: «Хватит!» Мы же по себе знаем: сегодня я совсем не тот, что был, допустим, 26 октября 1979 года. Не глупее и не умнее, а просто другой – меня посещали в тот день другие мысли, другие настроения, и если в тот самый день что-то написал, я 26 октября 1979 года в той записи и остался.

Компьютеров тогда не было, и я не всегда писал сразу на машинке (да и сейчас – тоже). А разгоняюсь мыслью на бумаге, особенно в начальный период, когда перед машинкой стыдно. Но вот – разогнался, мысль полетела, можно садиться за машинку... И ни разу не было такого, чтобы текст из рукописи совпадал с машинописным. Мысль куда-то уходит от задуманного, развивается по каким-то своим, неведомым автору законам, тут уже произведение руководит твоими пальцами, шлепающими по клавиатуре. А спустя время, когда рассказ закончен, перечитываешь черновик и кусаешь локти: вот ведь какая была хорошая фраза, а текст, что полетел стремглав на машинопись, обошелся без нее. И уже не воткнешь, не нарушив естественного хода повествования. Так пусть себе лежит в архиве: как знать, может и дождется своего читателя.

Сколько словесной роскоши залегло в фонде Андрея Белого! Одна параллель шумного въезда Коробочки в город с пролетом Бабы Яги в русских сказках из набросков к «Мастерству Гоголя» чего стоит. И гораздо убедительнее книжного варианта, где Коробочка не без насилия сравнивается со старухой-графиней из «Пиковой дамы». А история Сигизмунда Кржижановского, открытого Вадимом Перельмутером! Вадим прочитал в дневнике Георгия Шенгели об «очередном прозёванном гении России» и стал искать, что ж это за гений такой, о котором и через 35 лет после смерти никто толком не слыхивал... Недавно в Петербурге вышло собрание сочинений С. Кржижановского аж в 5 томах. Нет, Борис Леонидович, надо, надо заводить архивы. И над рукописями трястись надо.

Вроде совсем о грибах не думаю, памятью гуляю по Москве, где за станцией метро «Водный стадион» расположен Архив литературы и искусства, а Бог весть каким образом углядываю под маленькой елочкой краешек бурой шляпки. Уставившись рыщущим взглядом напрямую, не увидишь, так этот боровичок замаскировался. Это, пожалуй, удивительнейшее из свойств хождения за грибами – самые радостные находки, как правило, произвольны, мы угадываем рост гриба не столько сознательным вниманием, сколько подсознательным воображением.

И вообще пора оглядеться. Пока я сам с собой болтал об архивах, ноги принесли меня к местной достопримечательности. Лужа у корней. Здесь, на краю поля и леса, сходятся две дороги от шоссе к нашей деревне, и у их слияния распростерлась лужа, не пересыхающая даже в самые знойные дни. Ее объезжают по сосновым корням. Однажды машину, увязшую в этой луже, вытаскивал эвакуатор и сам застрял, да так прочно, что пришлось из Никифоровского вызывать трактор – еле вытянули.

Я превращаюсь в тётю Полли из первых строк «Приключений Тома Сойера»:

– Барон!

Ответа нет.

– Барон!

Никакого ответа.

И куда запропастился этот несносный сын лайки и ризеншнауцера?

А здесь все-таки нет-нет да машины проносятся. Впрочем, сегодня среда, и если кто проедет, так наверняка свой и, увидев Барона на дороге, притормозит. Это в выходные сюда заносит шальных рыбаков, от которых всего можно ждать. Уж мусора на берегу Волги точно!

Отсюда до дому ровно два километра, полкорзины уже собрано, и можно бы возвращаться, но до чего ж скучны слишком знакомые дороги да еще через поле! Нет, лучше снова войти в лес и наведаться к старым местам, хотя дело это совершенно безнадежное. Почему-то в нынешнем году грибы появились только в середине августа и не там, где они произрастали каждое лето, а совсем-совсем в других местах, откуда в урожайные годы выходил с пустой корзиной. Но тут влечет меня на дальний Клондайк и к аллее Красных героев и тем более к Апельсиновой роще не корысть, а сила эстетического тяготения. А Барон догонит меня, и я даже знаю где.

2

Дорогой, перпендикулярной пути домой, углубляюсь в лес. Слева от меня густой, еще не прореженный природой ельник, а справа – сырой ольшаник. В ельнике в иные годы изобилие поддубовиков, хотя ни одного дуба там не растет. А поддубовики – такие грибы, похожие на белые, только ножка у них тонкая, а трубчатая подушечка, зеленоватая, как у боровика, синее, когда чуть нажмешь. Но нынче их почему-то нет совсем, в ольшанике же тем более пусто. За развилкой, где левая дорога ведет в безгрибные дебри, ельник кончается, а ольшаник перебегают дорогу и оказывается слева от меня, уступая с правой стороны чистому смешанному лесу: березы, осины и мои ровесницы ели в возрасте 64 лет. До войны вместо леса было колхозное поле, изрытое в 41-м траншеями, окопами и воронками от фугасных бомб. Я сворачиваю с дороги и прохожу этот неглубокий лес насквозь к старой поваленной березе.

Здесь я всегда сажусь перекурить. И как только я удобно устраюсь, вытянув усталые ноги, размечтаюсь, впевнив взгляд в кипящий рабочей суетой муравейник, затаюсь беломоринкой, невесть откуда «черной молнии подобный» налетит Барон с неременной жаждой общения и ласки, взгромоздит мне лапы на плечи, норовя облизать всю площадь лица.

Ну, я же говорил. Вот он, тут как тут. Благо я еще не успел папиросы достать, а корзину поставил так, что псу ее не опрокинуть. К ритуалу братства готов, и минут пять уходит на поглаживание жесткого меха, любовного лепета и уклонения от особо яростных проявлений собачьей преданности. Но вот и Барон успокоился, разлегся подо мною в позиции «язык на плечо», готовый к разговорам на самые отвлеченные темы.

Да я не готов. Устал. Ты смотришь на меня умными вопрошающими глазами, кажется, вот-вот и заговоришь человеческим языком, будто где-то там, где тебя черти по непролазным кустам носили, ты не следы неведомых зверей исследовал, а всю мировую философию. Размышляй молча, дружок, о тайнах бытия поговорим попозже. А я пока осмотрюсь.

Мы с тобой, Барон, находимся почти на середине большой буквы С. Нижняя ее скобочка поближе, и, когда отдохнем, двинемся туда, к аллее Красных героев. Это вытянутый в поле клин осинника, под которым непременно отыщется хоть один красноголовый красавец-удалец, потому и название такое. А однажды я там нашел сплетенье шести грибов: они составили композицию Лаокоон. Вдоль осинника идет глубокая траншея на целую роту солдат. Чуть глубже в лесу несколько воронок от авиационных бомб. Почему-то в грибные годы на склонах воронок вырастают гиганты, не тронутые червем.

На противоположной стороне, у вершинной скобочки – дальний Клондайк. В первое лето здешней жизни я набрел здесь на целую корзину сокровищ. В иные годы этот угол оправдывал свое название сполна. Мы, конечно, навестим его и сегодня, хотя едва ли отдыхающая грибница одарит меня хотя бы парочкой белых.

Глубокая трещина в стволе березы вот уже несколько лет исправно служит мне пепельницей. Труха в ней влажная даже в сухую погоду, но окурок все равно гашу о землю – мало ли что. Только поднялся, Барон вскочил на ноги – ищи-свищи его!

Аллея Красных героев пройдена насквозь в оба конца – лишь на краю, уже в поле обнаруживаю роскошное желтое сомбреро. Ножка целая, а шляпку объел черный жук чуть ли не насквозь. Зато не видно его соперников – червей, что утешает.

Совість моя чиста, минуя свою поваленную березу, иду к дальнему Клондайку, и путь мой лежит через «Виткину погибель». Вита – моя дочь, а почему здесь ее погибель, объясню. Лет семь назад, в начале лета, когда серьезные грибы еще не давали знать о себе, но лисички вылезли на поверхность, я, подойдя к другой поваленной березе, вытянувшейся вдоль траншеи, едва не ослеп от бьющей в глаза золотой желтизны. Сколько ж там было этих лисичек! Добрый час я ползал на коленках, и вот ведь как чудесно они растут: режешь одну, а в ладонь сыплются три-четыре. Как я дотащил корзину, наполненную с верхом, это особая история. Но доволок. А эту прорву надо чистить! Стою в тяжких думах на крыльце перед этой корзиной и не нахожу цензурных слов, чтобы оценить свою удачливость. И тут вдруг является наш деревенский сосед Толик, в ту пору жених моей дочери: он приехал всего на пару часов и в пять собирается ехать в Москву. Счастливая догадка осеняет меня – отправить с Толиком весь этот дивный дар леса, и пусть Вита с мамой за разговором в четыре руки управятся с ним за недолгое время. Зато сколько им радости... Но надо знать нашего Толика. В семь его нет. В восемь – тоже. Уж не прозевал ли я его? Иду к нему, весь растревоженный, а он спокойненько так потягивается – решил поспать перед дорогой, так что лисички мои увез лишь в десятом часу, а вывалил корзину перед изумленной Витой в начале второго ночи. Жены моей дома не было, она навещала свою маму в Переделкине. И бедная Вита до утра маялась с этой громадой лисичек, проклиная и меня с моей удачливостью, и Толика, и вообще весь белый свет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.